



Проза XX века

АЛЕКСАНДР

КУПРИЯНОВ

РОМАН

Жук  
золотой



Проза нового века

Александр Куприянов

**Жук золотой**

«ВЕЧЕ»

2021

**Куприянов А. И.**

Жук золотой / А. И. Куприянов — «ВЕЧЕ», 2021 — (Проза  
нового века)

ISBN 978-5-4484-8682-1

Александр Куприянов – московский литератор и писатель, главный редактор газеты «Вечерняя Москва». Первая часть повести «Жук золотой», изданная отдельно, удостоена премии Международной книжной выставки за современное использование русского языка. Вспоминая свое детство с подлинными именами и точными названиями географических мест, А. Куприянов видит его глазами взрослого человека, домысливая подзабытые детали, вспоминая цвета и запахи, речь героев, прокладывая мостки между прошлым и настоящим. Как в калейдоскопе, с новым поворотом меняется мозаика, всякий раз оставаясь волшебной. Детство не всегда бывает радостным и праздничным, но именно в эту пору люди учатся, быть может, самому главному – доброте. Эта повесть написана 30 лет назад, но однажды рукопись была безвозвратно утеряна. Теперь она восстановлена с учетом замечаний Виктора Астафьева.

ISBN 978-5-4484-8682-1

© Куприянов А. И., 2021

© ВЕЧЕ, 2021

## Содержание

Золотой жук на дебаркадере Страны Советов	5
От автора	8
Часть первая	9
Пролог	9
Зэк	11
Матрена	16
Отчим	26
Отец	41
Королева	51
Конец ознакомительного фрагмента.	56

# **Александр Иванович Куприянов**

## **Жук золотой**

### *Роман*

#### **Золотой жук на дебаркадере Страны Советов**

Прочитав роман Александра Куприянова «Жук золотой», классик русской литературы Виктор Астафьев не только посоветовал молодому журналисту серьёзно заняться прозой, но и оставил на полях рукописи немало ценных замечаний и пометок. Этот эпизод описан в романе.

Мало кто из начинающих авторов удостоивался подобного внимания со стороны известного и признанного писателя. Но всё объясняется просто. Дело в том, что по своей художественной стилистике и литературному исполнению «Жук золотой» перекликается с шедевром Астафьева «Царь-рыба». Чувствуете, даже в названии произведений есть некий общий посыл. Если рыба, то царь! Если жук, то золотой! И это при том, что содержание двух произведений, естественно, совершенно разное. Но метод – один!

Я бы определил его, как внутренний монолог на тему жизни и смерти, детства и отрочества, первой любви и первых сердечных ран, верности и предательства, мужества и трусости, достоинства и покорности перед волей обстоятельств, как пишут в казённых бумагах, непреодолимой силы. Одним словом, всего того, о чём не устаёт заинтересованно размышлять постигающий основы бытия взрослеющий человек. Известный японский писатель Дзюэнтай Гомикава, кстати, так и назвал свой лучший, сделанный в схожей манере роман – «Условия человеческого существования».

Александр Куприянов при этом соединяет в органичное целое формируемые окружающей средой мировоззренческие ценности подростка с иронией и житейским опытом взрослого человека. Он не прощается с детскими комплексами, но продолжает с ними жить, понимая, что в том далёком времени спрятан шифр, с помощью которого человек может не только объяснить то, что происходит с ним в данный момент, но и заглянуть в будущее.

Метод диктует форму. Куприянов в «Жуке золотом», как и Астафьев в «Царь-рыбе», пластает эпоху, в какой выпало жить. Вычленяет из неё сочный шмат, бросает читателю: у меня в то время было так! А как у тебя?

Образ автора при этом играет роль компаса, которому читатель может верить, а может и не верить. Как хочет. Автор не настаивает, не идеализирует себя. Он растворён в бедах (их больше) и радостях (их меньше) своего времени. Одновременно его роман – фрагмент исторической эпохи преобразованной в СССР тысячелетней России. Автор сам вместе со своими героями – суровой баптистской бабушкой Матрёной Максимовной; податливой к отчиму, безропотной под его тяжёлой пьяной рукой матерью; ушедшим из семьи отцом; разноплеменными друзьями дальневосточного детства и юности – живой атом этой эпохи. В романе она олицетворяется дебаркадером «Страна Советов». Им заведует местный Дон Жуан с весёлым именем Адольф Лупейкин, доводящий представительниц местного и приезжего женского контингента «до стона».

«Жук золотой» – авторская версия истории страны, написанная трудом, слезами, житейскими воззрениями, тяжёлыми и лёгкими делами и мыслями людей, которым выпало жить в нелёгкое (легких в России не бывает), но относительно спокойное и по-своему даже счастливое время – от смерти Сталина до начала «застоя». То есть от начала пятидесятых до середины семидесятых годов.

Не всё было плохо на дебаркадере «Страна Советов». Не было нищеты и издевательского социального неравенства. Не было безработицы. Не было голода, хотя и не всегда ели досыта, не часто баловались деликатесами, если не считать привычную и повсеместную для Дальнего Востока красную икру. Зато была взаимовыручка. Было ощущение равенства в житейских делах. Была общая нелюбовь к начальству и (по умолчанию) сплочённость в этой нелюбви. Была дружба народов, которую никто не достаивал этими величественными словами. Она была естественной и простой, как общий (для всех) быт без излишеств. Общий (суровый, но не всегда, опять же по умолчанию, исполняемый) закон. Общая (для всех) страна, где хочешь-не хочешь, чтобы нормально жить, надо терпеть и уважать соседей. Летало, летало над дебаркадером золотое солнечное насекомое, обещающее советскому народу если и не сильно счастливую, то спокойную, минимально обеспеченную жизнь.

«Жук золотой» – гимн советскому Дальнему Востоку, его простым людям, его неповторимой природе. Это рассказ о постигающем жизнь, взрослеющем человеке, выстраивающем сначала в детском, а потом в юношеском сознании баланс добра и зла, правды и лжи, чести и бесчестия, обмана и справедливости. Усваиваемые героем романа на примере повседневной жизни близких и окружающих людей истины тяжелы и иногда болезненны. Но это фундамент, с которого растёт личность, тот самый волшебный золотой жук, который подобно талисману хранит и оберегает человека в плавании по житейскому морю, подобно маяку высвечивает путь среди бьющих в борта корабля злых волн.

Александр Куприянов – автор многих книг, лауреат литературных премий. Его романы «Надея», «Таймери», «Истопник», «Лазарь», сборники повестей и рассказов (некоторые изданы под псевдонимом Купер) – заметное явление в современной российской литературе. Убедительная сила его произведений в том, что автор пишет только о том, что сам пережил, осмыслил и досконально изучил. Примером может служить роман «Истопник», где описывается конкретный драматический эпизод в истории «мужского» и «женского» лагерей ГУЛАГа, пробивающих с двух концов в горах навстречу друг другу туннель. За досрочное окончание работы им была обещана начальством «ночь любви»...

Искренность и достоверность – «гвозди», которыми писатель «сколачивает» свою прозу. Она, как добротная, сделанная уверенными руками мастера мебель, служит долго.

Куприянов в своём творчестве отталкивается от глубинного понимания «нутра» народной жизни и – одновременно – от обширных, местами энциклопедических знаний, приобретённых им, как интеллигентом в первом поколении. Такие люди не устают учиться и много читать всю жизнь, потому что как бы навёрстывают то, к чему стремились, но не успели их предки. Скажу больше, именно интеллигенты первого поколения – надёжное звено в преемственности времён. Их неподдельный интерес и живое восприятие минувшего помогает хранить, обогащать и преумножать нашу общую память о том, как жил, о чём думал и мечтал, чего хотел, что после себя оставил народ и как мы – потомки – распорядились оставленным.

Александр Куприянов – опытный и профессиональный журналист, прошедший путь от корреспондента дальневосточной «Тихоокеанской звезды» до высоких должностей в самых известных центральных изданиях: «Комсомольской правде», «Известиях», «Российской газете». На излёте СССР работал собственным корреспондентом «Комсомолки» в Лондоне. По возвращении – создатель первого в новейшей российской истории таблоида «Экспресс-газеты», активный и деятельный участник различных журналистских проектов. В своём деле он признанный профессионал высочайшего уровня, легендарная личность, уважаемая всеми поколениями российских медийных людей.

Сегодня Александр Куприянов возглавляет крупнейшую в стране по общему тиражу газету «Вечерняя Москва». Она была такой отнюдь не всегда. Новый главный редактор принял «Вечёрку» на последнем издыхании, но за несколько лет вдохнул в неё жизнь, сделал популярной и любимой у избалованного и капризного столичного читателя. Современная «Вечерняя

Москва» – это огромный издательский холдинг с собственными интернет-ресурсами и онлайн-новым сетевым вещанием на всю страну.

Когда человек талантлив, он талантлив во всём. Роман «Жук золотой» читается на одном дыхании, слова бьются, царапают бумагу, как пойманные, брошенные на берег рыбы. Но, в отличие от рыб, они не засыпают на песке, а продолжают жить в сознании и памяти читателя. Пережитые и описанные автором события становятся не личным, но, скажем так, обобщённо-личностным опытом читателя, острой, необычной, но уместной и желанной добавкой к его жизни. Благословивший на писательский труд Александра Куприянова Виктор Астафьев увидел в молодом тогда авторе главное – живую ищущую душу, чувство слова, талант сближения и естественную, как сама природа, любовь к людям и стране (как бы она ни называлась), где они живут.

Я завидую тем, кто держит в руках эту книгу. Им ещё только предстоит её прочитать, а значит – пережить новую, интересную и захватывающую жизнь. Писатель не вцепился в своего «Жука золотого» жадными руками. Напротив, дарит его читателям. Берите, мне не жалко! У каждого в душе должен быть свой «Жук золотой». На этой нематериальной основе стоят и жизнь, и литература.

*Юрий Козлов,*

*писатель, главный редактор журнала «Роман-газета»*

## От автора

Мне хотелось бы предупредить читателя повести «Жук золотой» о единственном. Вспоминая свое детство с подлинными именами и точными названиями географических мест, я оставлял за собой право видеть детство глазами человека взрослого. Иногда мне приходилось домысливать забытые детали и восстанавливать ситуации, вспоминать цвет и запахи, речь героев... Часто, особенно во второй части повести, я старательно прокладывал мостки между прошлым и настоящим. Разумеется, все это – достаточно субъективно. Но таким было мое детство. Именно так я его вспомнил. Есть забавная игрушка – детский калейдоскоп. Ты поворачиваешь трубочку, и всякий раз мозаика меняется, не повторяя предыдущего узора. Самое главное – она остается волшебной. Мое детство не всегда было радостным и праздничным. Но именно в детстве люди учили меня, может быть, самому главному – доброте. Я благодарен им за уроки.

Повесть была написана 30 лет назад, но однажды рукопись оказалась безвозвратно потерянной. Она была моим первым литературным опытом. С «Жуком», в свое время, ознакомился Виктор Астафьев. Он сделал свои замечания. Я старался их учесть.



## Часть первая

### Цабэрябый не вернется

#### Пролог

Я всегда знал, что мой отец был капитаном.

Я хорошо представлял его. В черном мундире с желтыми шевронами и такими же, цвета тусклого золота, погонами на плечах. Погоны с аксельбантами. Как у адмирала Невельского. Разумеется, кортик у бедра. И, конечно, усы и кашне, фуражка с «капустой». Такая морская кокарда.

От него вкусно пахнет одеколоном и табаком дорогих папирос. Может, он курит трубку. Да. Так даже вернее. Трубка и белые перчатки.

Он стоит на открытом всем ветрам мостике, смотрит вдаль и командует: «Пять румбов влево! Так держать!» Или: «Полундра! Свистать всех наверх!» В зависимости от силы шторма, сотрясающего корабль от клотика до киля.

Вот именно, что от клотика. И до киля. Не говоря уже о том, что такой человек регулярно посылает вахтенного матроса отбивать склянки на корабельной рынде.

Все-таки романтизм во мне уже тогда сочетался с реализмом.

Посмотрите на фотографию моего отца. Вы же видите – я не ошибся. Ну разве чуточку приукрасил. Аксельбантов, кажется, во флоте уже почти не осталось.

А на скалистом утесе, каменной грудью встречающем волны Амурского лимана, его ждет прекрасная женщина в крепдешиновом, василькового цвета, платье.

Или платье было из креп-жоржета? А васильковой была тесемка, которой мама перевязала шкатулку со старыми, уже пожелтевшими письмами.

Она, молодая и красивая, с томиком стихов в руках. «Увозят милых корабли, уводит их дорога белая... И стон стоит вдоль всей земли: мой милый, что тебе я сделала?!»

Неужели не помните пронзительных строчек?! И женщину не видите?!

Это моя мама. Она ждет своего капитана. И косынкою машет ему с обрыва.

Сейчас я помогу вам представить картинку воочию.

Шлюпка несется к стоящему на рейде кораблю. Он черно-золотой. Он цвета мундира капитана. Борта, окантовка палубы и капитанского мостика, двери кубриков и отсеков судна очерчены ярко-желтой линией. И даже на огромной трубе корабля, как на обшлагах рукавов мундира, сияют три золотые нашивки.

В шлюпке сидят гребцы – матросы. Они в белых форменках с синими, в полоску, отложными воротниками. Настоящие матросы. По команде отца «Р-раз, р-раз!» они, раскачиваясь вперед-назад, напрягают мускулистые спины, и узкие лопасти их длинных весел гонят шлюпку по волнам.

Корабль приближается.

Шлюпка плавно, бортом, прижимается к судну. Звучит команда: «Подать шторм-трап!» Повизгивая от страха, я лезу вверх по шатким, на толстых канатах, ступеням. Сильные руки вахтенного подхватывают меня. Я гляжу вниз с высоты. Между черным бортом корабля и белым бортом шлюпки закипает свинцового цвета крутая волна. Отец, сняв фуражку, одобительно смотрит на меня. Мама, прижав руки к груди, что-то строго говорит ему. Отчим из шлюпки весело делает ручкой. Он как бы поощряет мою мечту.

Мне семь лет. И я люблю их всех. И матросов, и отчима, и пузатого – тоже усача – дядьку, которого здесь все называют боцманом.

И все они еще живы.

Отец поставил меня у штурвала, а сам встал за моей спиной. Он положил свои ладони на мои вцепившиеся в поручни штурвала ручонки. Я ухватился за колесо так, что, кажется, даже побелели костяшки пальцев. Он скомандовал: «Поднять якоря!»

Загрохотали цепи. У носа корабля закипели буруны, и двумя полосами вдоль рубки, в которой мы стояли, полетели брызги. Они становились все шире и шире, сверкающие полосы. У корабля на наших глазах вырастали крылья. Они были пронизаны солнечным светом, бьющим нам прямо в лицо.

Мой Жук Золотой!

Мы уплываем туда, где небо сходится с морем!

Там далеко впереди, по воображаемой линии, шел кораблик. Маленький, почти игрушечный.

«Это – горизонт, – строго сказал отец. – Нельзя достичь горизонта». – «А этот?!» – удивился я, ткнув пальцем в далекий кораблик. Отец засмеялся: «Хочешь попробовать?»

От охватившего меня восторга я уже не мог вымолвить и слова. Конечно, я хотел.

Он сделал шаг назад, убрав свои руки со штурвала, и я остался один на один с кораблем.

Теперь мне предстояло отдавать команду «Поднять паруса!» Курить трубку. Обнимать женщину в крепдешиновом платье. Объяснять сыну, как проводить судно в фиордах лимана. По огонькам бакенов, зажигающихся на фарватере, по огням высоких вышек, стоящих на берегах, наконец, по лучу маяка.

Вести судно в створ. Вот как это называлось.

Чтобы не сесть на мель и не разбить свой корабль на подводных скалах...

Я никогда не носил кортика, и у меня не было аксельбантов. И на рукавах моего мундира нет золотых нашивок. Я не стал капитаном. Может быть, это самая тайная моя печаль. Разделите сегодня ее со мной. Взрослые люди склонны забывать детские мечты, заменяя пустоту в сердце суррогатом будней. А кораблика, который идет по горизонту, я забыть не смог. Заменить его, оказалось, ничем.

## Зэк

Он явился к нам во двор весенним майским днем.

Мама с новым мужем Иосифом и соседями Мангаевыми сидели за праздничным столом, пили вино за советский праздник солидарности трудящихся и закусывали пирогами с-картошкой-толченой-рыбой-кетой. Так называлась начинка популярного в нашей деревне пирога. В одно, практически, слово.

Можно было зайти в любой дом, и вас угостили бы именно таким блюдом. На Нижнем Амуре красная рыба – главная. И, разумеется, икра. Тоже – красная. Икру солили, добывая из горбуши, летней и осенней кеты – серебристых лососей-красавцев, идущих в низовья Амура, на нерест.

Так придумано не человеком – природой.

Еще никто не узнал, каким образом мальки, скатившись в океан, через много лет возвращаются именно в те места, где они родились. По существу, они возвращаются, чтобы продолжить свой род и умереть.

Родовой инстинкт роднит лососей с людьми...

Еще на том первомайском столе был первый дикий лук. Ранней весной он пробивался через расщелины скал. Мы, пацаны, собирали его пучками. Хорошо щедро намазать ломоть хлеба красной икрой и сверху присыпать диким луком. Называлось – для хруста.

Красная икра в нашей деревне не считалась деликатесом. Если ты прибегал летом домой с улицы и мама совала тебе бутерброд с икрой, то ты имел полное право заканючить: «Опять с икрой... Хочу с хлебом-маслом-сахаром!»

«С-хлебом-маслом-сахаром» произносилось так же, как «с-картошкой-толченой-рыбой-кетой».

Конечно же, за столом пели песни.

Ой, рябина кудрявая – белые цветы... Вот кто-то с горочки спустился... Сегодня мы не на параде... И – грудь его в медалях, ленты – в якорях... И – возле нашего крыльца...

По соседству, как известно, рядом, там бились чьи-то жаркие сердца. И на побывку все ехал и ехал молодой моряк.

А может, последняя песня, про молодого моряка, появилась позже времени, о котором я вспоминаю? Она просто сместилась в моем детском сознании.

Он вошел во двор с полупоклоном и, обращаясь почему-то сразу к маме – он сразу признал в ней хозяйку, – попросил:

– Возвращаюсь из заключения – освобожден по амнистии. Помогите, чем можете. С миру по нитке – голому рубаха.

Из дальневосточных лагерей в то время хлынул поток заключенных, досрочно освобожденных и амнистированных. Мама засуетилась, стала собирать узелок со старыми рубашками Иосифа. Сунула туда пригоршню конфет-подушечек и пяток наших пирогов. Высокий и сутулый зэк-старик, кажется, он был плешивый и рябой – не помню точно его лица, заросшего неряшливой и какой-то клочковатой бородой, все это время смиренно стоял в сторонке от праздничного стола, накрытого под голубым, в тот день высоким и чистым, небом.

С миру по нитке – голому рубаха.

Старик напоминал мне кого-то, но я никак не мог вспомнить – кого?

Был он явно голоден, потому что старательно отводил взгляд от стола и мял в руках потертую зимнюю шапчонку. За плечами вольного человека висел походный сидор – тощий мешок, с лямками из толстой веревки.

Мой отчим – он работал киномехаником и потому считал себя человеком интеллигентным – при явлении незваного гостя слегка набычился и с явным неодобрением наблюдал за

маминой суетой. Иосиф был из семьи сосланных на Дальний Восток то ли польских, то ли белорусских кулаков-мельников и нрав имел куражистый, особенно по пьяному делу.

Сейчас отношение к кулакам у нас в стране изменилось.

Считается, что они спасали Россию, хозяйствовали крепко, а остальные крестьяне в деревнях были рвань, пьянь и голь перекатная. Только и ждали, как бы подпалить помещичьи усадьбы да отобрать у кулаков хлеб...

Не знаю. Может, так оно и было.

На Дальнем Востоке я встречал много ссыльных с Украины. Бывших полицаев, бандеровцев и в том числе семьи раскулаченных еще до войны хохлов. Все они, поселенцы и расконвоированные, а потом уже и их дети, на новых местах устраивались надежно, хозяйствовали крепко и основательно. В суровых краях смогли выжить и закалиться самые стойкие. Но часто среди них встречались люди угрюмые и нахрапистые. Уважающие только силу. Если мне не изменяет память, кулаков называли «мироедами». Может быть, жизнь в суровых краях сделала их такими. Мой отчим, казалось мне, был законченным мироедом. Я не вкладывал тогда в это слово классового понятия... Что было взять с меня, несмышленного. Имя и фамилию одного из коммунистических идиолов – Карла Маркса – я долго писал через черточку: «Карл-Маркс».

Я был уверен, что так правильно. Иисус-Христос, Карабас-Барабас... Ну, стало быть, и Карл-Маркс.

Желваки уже ходили по красивому, нос с горбинкой, лицу Иосифа. Он щедро намазал кусок хлеба красной икрой и протянул гостю:

– Попробуй нашего амурского угощенья!

Старик бережно, придерживая бутерброд двумя руками, – он думал, что икра посыплется с хлеба, – принял кусок.

– А что это? Ягода какая-то...

Отчим засмеялся:

– Вот тундра! Красная икра. Слышал про такую?

Зэк надкусил кусок хлеба и чуть не выплюнул его, поперхнувшись:

– Соленая...

Иосиф плеснул в чистый стакан водки. Протянул гостю:

– Выпей за наш советский Первомай!

– Благодарствуйте, кормилец, – отвечал старик, – мне никак нельзя: организм подорван. Болен я. Умирать иду.

– А куда идешь-то?

– На Тамбовщину. Да не знаю, остался ли кто в живых из родни.

– А за что срок тянул?

– За поджог колхозного сена, – буднично пояснил зэк. – Весной пускали пал – жгли прошлогоднюю траву, да неправильно, по ветру, пустили. Пара прошлогодних стожков и занялась... Двадцать пять дали, с поражением в правах. За вредительство колхозному строю. Двадцать оттянул, а потом амнистия вышла. Иосиф-то, Сталина, уж тогда сковырнули... Да пока суд-пересуд, пока документ выправили...

Говорил он, слегка прищамкивая. Во рту не хватало зубов.

В слове «документ» он делал ударение на «у».

Мама протянула сверток с едой и одеждой. Старый зэк принялся аккуратно укладывать подающие в мешок.

Он возвращался домой, где, может быть, его уже не ждали. Жизнь унесла старика от насиженных мест, как река уносит мальков в океан. Но судьба, как последнюю милость, подарила ему дорогу назад, к дому. Он был простым человеком. И, кажется, он об этом не думал. Он просто шел умирать на свою Тамбовщину.

– Да не оскудеет рука дающего.

Зэк низко поклонился всем сидящим за столом.

– И блажен будет тот, кто делился с убогими, когда предстанет он пред Его Престолом... Кажется, он знал Ветхий Завет.

В то время моя бабушка Матрена уже заставляла меня учить молитвы, выдавая тяжелую, в кожаном переплете, старинную Библию с черно-белыми иллюстрациями-гравюрами. По слогу, на который перешел зэк, я понял, что кто-то и его учил молиться.

Но перед каким Престолом может предстать мой отчим Иосиф, я тогда не понял. Слова зэка поразили меня.

Отчима словно подбросило со стула:

– Перед престолом, говоришь?! Не строй из себя святого! И не ври – «амнистия вышла»! Она уже сколько лет назад как вышла! Знаю вас, юридивых. Сбежал с лесоповала?! А теперь, как волк, по тайге рыщешь! Икра ему не нравится! За наш советский праздник он выпить не может! «С миру по нитке»... Я сейчас тебе покажу «голому – рубаха!» Они колхозы жгли, антоновцы, а невинных людей на Колыму ссылали!

Себя он имел в виду, что ли? Тогда почему на Колыму, а не на Амур? Да и насчет антоновцев... Антоновский мятеж на Тамбовщине случился в другие годы. Иосиф просто искал причину, по которой ему нужно было на старика обидеться. А может, подумал я, его оскорбило то, что зэк назвал имя Сталина – Иосиф. Отчима, похоже, назвали в честь великого вождя. Правда, и это не помогло. Семью выслали. Но пришелец не мог знать, что хозяина дома, где его приняли, зовут так же, как звали Сталина. Поэтому так непочтительно отозвался об отце народов – «сковырнули»...

Зэк суетливо полез во внутренний карман телогрейки, достал какую-то бумажку, наверное, тот самый документ – справку о досрочном освобождении. Все никак не мог развернуть ее дрожащими руками. Мама испуганно замахала на него. Старик заспешил со двора.

Уходил он, пятясь, лицом к столу и униженно кланяясь. Наконец повернулся и побежал. Но было поздно. Иосиф, как яростный зверь, в два прыжка догнал зэка и прыгнул ему на спину, ухватившись за воротник штопанной, изрядно уже потраченной в тайге, телогрейки.

А может, не телогрейка была – рубище?!

Был мой отчим в те годы мужиком еще не испытан, а мускулистым и жилистым. Одним ударом он повалил врага колхозного строя на обочину. Мощным рывком расплосковал телогрейку от воротника до поясицы.

Под ватником у старика ничего не было. Даже нательного белья. Голое тело с какой-то размытой, но огромной, во всю спину, татуировкой. На веревочном шнурке висел крестик.

– Поджигатель колхозного строя! – орал Иосиф.

И втапывал, втапывал незваного пришельца в майскую грязь, с подтаявшим поутру тонким ледком:

– Урка недоделанный, богоискатель! У параша гнил, а туда же – в борцы с Иосифом!

Я видел, что потертая на сгибах бумажонка выпала из рук старика. Фиолетовый, похожий на татуировку, штамп справки расплывался в луже.

К Иосифу уже бежали отец и братья Мангаевы, Усман с Резваном, заламывали ему руки, вязали полотенцем. Мама рыдала, упав ничком. Она первой пыталась оттащить озверевшего мужа от несчастного старика, но отчим ударил ее ладонью по лицу. Коротко и сильно. В уголках губ Иосифа закипала слюна.

Зэк, с разбитым в кровь лицом, нехорошо оскалился и выхватил из-за голенища сапога самодельный нож-финку. Одной рукой он держал за горловину походный мешок с подарками моей мамы, другой – свое оружие. Тонкое и узкое лезвие бликовало на солнце. Он отступал к близкому лесу, сплевывая сукровицу под ноги. Наконец он понял, что преследовать его больше некому. Иосиф, грязно матерясь и пуская пену, корчился, связанный полотенцем. «Простите

меня, кормильцы!», – прохрипел старик и, тяжело чавкая разбитыми сапогами по жирной грязи, побежал в сторону леса.

На бегу он, это мы, Господи! Ел мамины пироги. Он их заталкивал в рот целиком, давился, глотая. Крошки сыпались на дорогу. Может быть, он думал, что сейчас его догонят и отберут мешок с подаением.

И тут я понял, на кого похож старик.

Он был похож на человека из бабушкиной Библии. Одна из гравюр изображала нищих, слепых и калек, пришедших слушать Христа. Все происходило на берегу какой-то реки. Наверное, они пришли, чтобы избавиться от болезней и страданий. И странник, нарисованный крупно, на переднем плане, с котомкой в руках, был похож на эка, пришедшего к нам во двор. Он был как бы старшим среди нищих. А может, он действительно был учеником Христа. Его апостолом. И он привел заблудших к своему пастырю.

Я не знаю, кто рисовал гравюры в той книге.

Библия бабушки Матрены не сохранилась.

Так он и бежал. В одной руке котомка с волочащейся по грязи веревкой развязанных лямок, в другой – пирожок. Он бежал голый, разорванная телогрейка валялась на дороге, втоптанная, как и документ о досрочном освобождении, в грязь.

Резван Мангаев подобрал ватник эка и долго рассматривал полустертый белый знак на спине. Знак мишени.

Дед Мангаевых Айтык, сахалинский каторжник. Впрочем, как и мой дед – Кирилл Ершов. Вместе они сбежали с острова. По талому льду Татарского пролива дошли до материка. И здесь, в километрах сорока от портового городишки-поселения Николаевска-на-Амуре, zaloжили русскую деревню Иннокентьевку.

Айтык Мангаев был чеченцем. Его жена Зуйнаб – татарка. Строго говоря, я вырос во дворе и в доме Абдурахмана Мангаева, сына Айтыка.

У Мангаевых было шестеро или семеро братьев и две сестры. Их звали Соня и Фариза. Всех мангаевских ребятишек, они рождались погодками, друг за другом, учила моя мама. Хусаинка Мангаев, средний из братьев, был моим лучшим другом детства.

Старик, пришедший из тайги, нас нисколько не напугал. Мы были готовы принять его, даже беглого. Мы сами были внуками беглых эков. Только тогда они назывались по-другому – каторжниками. Или по-партийному – каторжанами.

Мальчишки пошли в тайгу за диким луком, растущим по весне в расщелинах каменных полок амурских скал, и обнаружили страшного, почерневшего человека. Он повесился на лиственнице, такой же корявой и старой, каким был сам. Лиственница зацепилась корнями почти на самом обрыве каменного утеса, известного в нашей деревне под названием Шпиль.

В округе все знали корявую лиственницу. По набитой тропке сюда приходили влюбленные парочки, мы, пацанва, забивали здесь свои бескомпромиссные «стрелки» и отливали из свинца свои первые кастеты. «Встретимся на Шпиле, у лиственницы» – пароль моего детства.

Человека сняли с дерева, положили на телегу и привезли в деревню.

– Мама, – спросил я, – это тот старик, который приходил к нам за пирогами?

Мама, не отрывая взгляда от свернувшейся змеей в углу телеги веревки, строго ответила:

– Нет! Это другой человек. Тот старик сел на пароход и уплыл. Я помогла ему. Он обязательно вернется на родину. Пойдем отсюда.

Краем глаза, уходя, я увидел, как с человека сдернули одеяло. Он лежал лицом вниз, голый по пояс. Его спину украшала уродливая, фиолетового цвета, татуировка. На шее висел крестик.

Но ведь они все там делали себе наколки?

Они там все уверовали в Бога?

Я заплакал.

Мама не утешала меня.

Она даже не вытирала мне слезы.

Так я и стою, у обочины той дороги, по которой зэк убегает в тайгу. Я очень хочу, чтобы он обернулся. Мне нужно за чем-то запомнить его лицо. Но старик не оборачивается. Он бежит и на ходу давится мамиными пирогами.

Я никогда не узнаю, за что он просил у нас прощения.

## Матрена

Мою бабушку Матрену Максимовну и отчима Иосифа примиряли только грибы. Сама бабка в лес не ходила, а Иосиф грибы таскал домой ведрами. Часто использовал майку вместо корзины. Для того, чтобы и туда набрать пузатеньких боровиков. Просто завязывал узлом лямки, и получалась кошелка.

Отчим знал самые заветные поляны в тайге вокруг деревни. Все, кто пытался вычислить его тайные плантации, очень скоро теряли следопыта из виду. А когда возвращались к общему месту сбора, Иосиф уже спал под кустом, прикрыв глаза капроновой шляпой в сеточку. Рядом стояла полная корзина. И майка в придачу. Причем – особый шик – одних шляпок!

Они садились вдвоем с Матреной на крыльце, бок о бок, ставили перед собой тазик и ведро. И грибы чистили. Да и что там их было чистить! Белый гриб червивым не бывает. Одно удовольствие.

Они сидели и мирно беседовали. Казалось, что в нашей семье наконец-то воцарился мир. Но это только казалось.

Отчим Иосиф взглядом останавливал злобных собак.

Бабка Матрена взглядом останавливала пьяного Иосифа.

Она ему ничего не говорила. Только поджимала губы, превратив их в две тонкие бриточки, как будто могла поранить в кровь своего ерепенистого зятя. И Иосиф как-то стихал. Он ник под взглядом Матрены.

На одном глазу у бабки Матрены было бельмо. Происхождение его осталось для меня загадкой. Иногда Матрена надевала очки с дымчатыми стеклами. По тем временам это было круто. Высокая костистая старуха в темных очках. Иосиф, даже пьяненький, шептал, чтобы Матрена не слышала: «Баптистка одноглазая!»

Действительно, Матрена Максимовна была большой активисткой в секте амурских баптистов. Бабка заговаривала кровь. Называлось затворяла, и могла унять зубную боль. Последнему умению она научила и меня. Я хочу успеть передать этот секрет внукам Юле и Нине. Может, он им тоже пригодится.

Бабка была властной, но справедливой. Она часто говорила: «У каждого свой крест!» Я был еще совсем маленький, и я не понимал. Ну вот где он, мой крест?! Вот этот самый, что болтается у меня на шее на обыкновенном шнурочке?

Я показывал свой крестик. Бабка сердилась ужасно. Я не понимал, почему? Лишь много лет спустя я узнал, что баптисты детей не крестили. По их учению, только осознанное отношение к вере приводило к обряду крещения. А с ребенка какой спрос? Какое у него осознанное отношение к вере?

Вопрос остается открытым: кто же повесил крестик мне на шею? Не мама же – комсомолка и учительница, и не бабка-сектантка, про которую в Большой Советской Энциклопедии было написано: «Царское правительство и Синод жестоко преследовали баптистов. Великую Октябрьскую социалистическую революцию и Советскую власть баптисты в значительной своей части встретили враждебно». Разумеется, энциклопедию я тоже прочитал гораздо позже. Но интуитивно я понимал, что моя бабка как раз и относится к той самой значительной части баптистов, которые не сильно обрадовались советской власти. Зато мой дед, в противоположность Матрене, был настоящим революционером. Он сбежал со знаменитой сахалинской каторги.

К моему пионерскому галстуку Матрена относилась так же, как и к крестику на шее. Смутно помню короткую, но яростную дискуссию по поводу моего пионерского галстука мамы и бабушки. Мама рекомендовала Матрене Максимовне более не касаться практики обрядовости детской коммунистической организации.



Мы оставались дома одни. Мама уходила на занятия в школу, а отчим – к любимому месту сборища всех деревенских мужиков: на дебаркадер-баржу, где то ли сторожем, то ли матросом служил человек с редким в деревне именем Адольф и с такой же редкой фамилией Лупейкин. На дебаркадере Лупейкина был организован своеобразный мужской клуб. Разбирали сети, чинили моторы, к обеду разливали по первой и закусывали копченой кетой, соленой черемшой с хлебом. У них, как и во всяком клубе, была своя обрядовость. Сельпо, где продавец дядя Ваня Злепкин продавал водку в розлив, стояло на взгорке, недалеко от дебаркадера-баржи. На борту огромной баржи-железяки было написано название. «Страна Советов». Вот как назывался дебаркадер Лупейкина.

Поскольку Иосиф крутил кино по вечерам, он был активным членом клуба «Страны Советов».

Матрена заставляла меня учить молитвы – я убегал на улицу. Бабка возвращала меня, ставила на колени, в угол. Называлось «на горох». Сначала ничего особенного, а потом от гороха на коленках образовывались вмятины, почти дырки. Казалось, что до костей. Однажды отчим неожиданно вернулся к обеду и застал меня на горохе.

– Да ты Салтычиха, Матрена Максимовна! – удовлетворенно сказал Иосиф и с прищуром посмотрел на бабку.

– Отзынь, Сигизмунд Пилсудский! – презрительно отвечала бабка. Она знала русскую историю, не любила католичества и рассказывала мне, как поляки во все времена хотели захватить трон русского царя. Именно бабка Матрена первой поведала мне про подвиг Сусанина, утопившего поляков в болоте. Фамилия Иосифа была не Пилсудский, но Троецкий, его предками были, кажется, поляки. Во всяком случае, он сам на это намекал.

Бабушка показывала мне старинные фотографии своей молодости. На фотографиях она выглядела учительницей-курсисткой, очень часто с книгой в руках. И в очках с затемненными стеклами. Для меня осталось большой загадкой, как она – видимо, образованная для своего времени девица – обратилась в сектантскую веру и с течением времени стала Старшей Сестрой нижеамурских баптистов. Очень часто она ходила по дому в длинном, до пят, черном платье и в такой же косынке цвета вороньего крыла. Однажды она взяла меня с собою в недалекий городишко Николаевск, и там мы пришли в длинный и очень страшный дом. В доме тоже жили баптисты. Как ни странно, дом этот стоит до сих пор. Другие бараки, стоявшие рядом, уже давно поносили, а дом баптистов, издавек похожий на пиратскую шхуну, все так же плывет в тумане, наползающем на город из близкого лимана. Словно Матренины единоверцы совершают свой последний исход.

Думаю, что определенная образованность моих деда и бабки отличали их от других поселенцев и ссыльных, осевших в нашей деревне. И сыграли заметную роль в нашей семье. Они отправили мою маму учиться, и она закончила Учительский институт. По-моему, мама в те времена была единственной в нашей деревне девушкой с таким образованием. В педагогическом пришлось учиться и мне, и детям моей старшей сестры Галины. И дочь моя Татьяна заканчивала Хабаровский педагогический университет. Думаю, что основу нашему учительскому клану заложила бабка Матрена.

К Матрене приезжали братья и сестры по вере. Такие же немногословные люди в черной одежде. Они запирались во второй половине дома, доставали толстые книги с медными застежками и по два-три часа кряду бубнили псалмы. В некоторых книгах были интересные картины, настоящие гравюры. Но на иконы баптисты не молились. Не знаю, почему бабку не замели органы. НКВД и КГБ во все времена боролись с сектантами. Ссылали их на Север, сажали в лагеря. В Магаданской области я встречал староверов, адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы и баптистов. Строгие были люди, но опрятные.

Помолившись, сектанты выходили обедать. Мама кормила их. Наевшись, братья и сестры благодарили Создателя:

– Слава Богу, накормил!

И так же незаметно, как и появились, исчезали со двора. Мама сердилась:

– Не бог их накормил, а я!

Она была комсомолкой и атеисткой. Бабушка Матрена назидательно возражала дочери:

– У каждого свой крест!

Мне всегда казалось, что бабка Матрена больше любила моего друга Женю-жопика, нежели меня.

Первое Женькино прозвище было печенье. Второе – жопик. То есть жадный. Обе клички связаны между собой. Появившись на улице с пачкой печенья в руках, он тут же орал: «Сорок один – ем один!» Потому что, если кто-то из нас успевал раньше прокричать «Сорок семь – дели всем!», Женька должен был разделить пачку на всю ораву.

Женя отличался большой сосредоточенностью и учился на отлично. Он был на два года старше нас с Хусаинкой. Когда он приходил в наш дом, бабушка давала ему толстый том-тал-муд, и Женька, поправляя очки на глазах, вслух читал ей какие-то то ли молитвы, то ли священные песни. Матрена сидела торжественная, глаз ее лучился, и после читки она кормила Женьку брусничным киселем и ржаными пряниками, облитыми глазурью. Мне от их сектантского пиршества тоже обламывался кусочек. Матрена гладила Женю по голове и наставительно говорила мне:

– Вот будешь, как Евгений, тогда...

Что тогда?!

Евген-очкарик поглядывал на меня с превосходством. Он действительно был пацан послушный и талантливый. Хотя и жадный. Но кто же знал тогда, что из законченного ботаника он очень скоро превратится в жигана и городского фрэера?

Я ел пряники, запивая киселем, не очень аккуратно. В отличие от Жени.

– Блюда себя! – строго говорила бабушка.

– Как это – блюда? – дерзил я.

Матрена серчала.

– Не чавкай, не кроши пряником, полоротый! Не сучи под столом ногами!

Я никогда в жизни и ни от кого больше не слышал такого точного определения – полоротый.

Наверное, Матрена чувствовала суть людей.

Про меня она говорила: «Шебутной! Будешь всю жизнь, как твой папаня, плясать под гармонь и за девками бегать!» Мой отец прекрасно танцевал и даже исполнял в художественной самодеятельности танец-чечетку на сцене. Я сам не видел, но мама рассказывала. Что интересно, в десятом классе бить степ научился и я.

Ревностно относясь к вопросам веры, про другого моего друга, Хусаинку, то ли чеченца, то ли татарина, она говорила с теплотой в голосе: «Басурманин востроглазый! Одно слово – татарва».

Думаю, Матрена вспоминала те два медовых месяца, проведенных на заимке с моим дедом. Именно дед Хусаинки Айтык Мангаев помог своему другу Кирилке украсть невесту из богатой семьи баптистов. Украсть, потому что кто же отдаст свою дочку за беглого каторжника, промышляющего извозом и продажей дров? Матрена получила свое женское счастье в лице моего деда, шебутного революционера, командира партизанской баржи. Они плавали по Амуру и постреливали в японских милитаристов-захватчиков. А потом, на пару с тем же Айтычкой, создали рыболовецкую артель «Буря». Хусаинкиного деда Айтыка местные жители, нивхи, звали на свой лад – Айтычка Бангаев.

А может быть, Матрена, принимая семью Мангаевых как некую родню и в то же время строго отмежевываясь от их мусульманской веры – «басурмане!», несла в себе историческую память русского народа, прожившего триста лет бок о бок с татарами? Еще в школе, наверное,

где-то в классе восьмом, я засомневался в правдивости версии монголо-татарского ига. Мне показалось, что все было не совсем так, как написано в советских учебниках. Но это отдельная тема.

Чеченцами-полутатарами Мангаевы считались потому, что мать Хусаинки, тетя Зина, была татаркой. И вообще-то ее звали не Зиной, а Зойнаб. Что интересно, родом Зойнаб оказалась тоже из знатного и богатого татарского клана Керимовых. Кирилл Ершов и Айтык Мангаев, кажется, были еще теми революционерами! За классовую справедливость и новую жизнь они, конечно, боролись. Но невест себе нашли богатеньких.

Из детских воспоминаний со временем у меня сложился образ моей бабушки Матрены Максимовны, которая, заставляя меня учить молитвы с помощью постановки на горюх, вложила в мое сознание точные истины об ответственности человека.

Столкнувшись с заповедями «не убий», «полюби ближнего», «прощай врага твоего», «не укради» не на страницах Священного Писания, а в жизни, я вспоминал не отца с матерью, а именно свою бабушку, зловредную баптистку Матрену.

Оказалось, что не так-то просто прощать врага твоего и любить ближнего. Не говоря уже о таких практически невыполнимых заповедях, как «не прелюбодействуй».

Я развернулся на дорожном круге – по-английски это называется «round about» – и выехал на мост через Темзу. Вот здесь-то я и увидел его. Огромного и красивого негра с почти фиолетовым лицом и вывернутыми наизнанку розовыми губами.

С Темзы несло утренней моросью. Было всего шесть утра. Может быть, шесть-пятнадцать. До назначенной встречи с беглым советским шпионом-предателем из ГРУ Виктором Суворовым оставалось пятнадцать минут.

Негр шагал по колено в тумане. Он был одет в дорогое кашемировое пальто. Длиннополое, нараспашку. Воротник белоснежной сорочки сбился, и шелковый ярко-красный галстук развевался за спиной негра, как маленькое и отчаянное знамя. Оно трепетало на ветру. Отчаянное потому, что негр размахивал крупными, сильными руками, сжатыми в кулаки, что-то кричал, обращаясь к кому-то, оставленному в Лондоне, на правом берегу Темзы. Он яростно жестикулировал. И он плакал, размазывая слезы по лицу кулаками. Он словно договаривал то, что не успел сказать.

По нынешним временам негра нужно было бы называть афроангличанином. Поскольку уже есть афроамериканцы, то почему бы не быть афроангличанам?

Но тогда мы этого еще не знали. И негров называли неграми. Ничего обидного. Тогда еще толерантность не сильно овладела нами.

Особенно на берегах Нижнего Амура.

Адольф Лупейкин, мастер нашего деревенского дебаркадера, вообще именовал их непочтительно. Не стану повторять. Здесь вообще это будет выглядеть не просто непочтительно, но даже и не по-человечески. В школе нас постоянно учили любить негров. Но я их почему-то не очень-то любил. Может, благодаря антипропаганде Лупейкина.

А этого, на мосту, полюбил сразу. Я медленно ехал негру навстречу и раздумывал: остановиться, подойти и спросить: «Can I help you, sir?» Не могу ли я вам чем-то помочь, сэр? Или проехать мимо? Вдруг наркоман? Или просто сильно пьяный. А во внутреннем кармане пальто у него нож-выкидуха.

Проехать мимо.

Я посмотрел в зеркало заднего вида. Туман покрывал пешеходную дорожку вдоль моста, и негр, как цапля, высоко поднимая ноги, ступал, казалось, по волнам тумана.

В последний момент мне даже показалось, что и негр посмотрел в мою сторону. Но, честно, я даже не притормаживал. Негр пропал. Он растворился в тумане.

Я припарковал свою «Хонду-Аккорд» у паба с названием «Якорь». Наверное, то был единственный паб в Лондоне, который открывался в шесть утра. Ты идешь по туману, и ты

упираешься прямым в пивнушку, которая открыта с утра пораньше. И ты думаешь, ну что, парень, пришло время и тебе бросить свой якорь.

Именно здесь большой оригинал Виктор Суворов, в недалеком прошлом Владимир Резун, назначил мне свидание.

Суворов-Резун боялся, что я, коварный кагэбэшник из СВР (служба внешней разведки), приехал в Великую Британию для того, чтобы привести приговор в исполнение. На нашей не менее великой, чем Британия, родине Суворова приговорили к высшей мере наказания. За то, что он, кадровый разведчик из Главного Разведывательного Управления (ГРУ), переметнулся к врагу. И якобы сдал всю нелегальную сеть советских шпионов в Европе ловким паренькам из MI 5. Для незнающих поясню: MI 5 – National Security Division of Military Intelligence. Отдел государственной безопасности военной разведки.

Не знаю, так ли это было на самом деле. Но позже, за пинтой пива или стаканом виски, Суворов не раз говорил мне, что готов приехать на открытый суд в Россию и доказать, что никого он не предавал. По-моему, его так и не позвали на советский суд. Как известно, самый справедливый суд в мире.

А тогда, перед нашим знакомством, Суворов-Резун был уверен, что я – палач.

– Ну вот как я приведу приговор в исполнение? Как ты себе это представляешь? – часто, напившись английского эля, спрашивал я Суворова.

– Ткнешь меня зонтиком. Или подсыплешь в стакан какой-нибудь гадости, – задумчиво отвечал Суворов, больше похожий на бухгалтера старательской артели, нежели на коварного резака.

Резак на сленге разведчиков это резидент, руководитель шпионской сети. Между тем к тому времени Резун стал писателем с мировым именем. Внешне – никогда не скажешь. Витя был небольшого роста, лысый, с огромной головой, которую всегда хотелось назвать башкой.

Чтобы замести следы и многократно проверить меня, Резун бесконечно назначал мне свидания в пабах и гостиницах, потом, через портье и официантов, переносил их в другие места. А сам, по всей вероятности, кружил за мной по городу, чтобы проверить: нет ли «хвоста»?

Убивать Резуна мне никакого резона не было. И задания такого я не получал. То есть ни специального зонтика, ни яда у меня в наличии не имелось. Моя миссия была гораздо скромнее: выманить для публикации в «Комсомольской правде» главы из скандальной книги Суворова «Ледокол». Перестройка уже началась, по Горби, но она еще недостаточно углубилась. Поэтому некоторая стремность в редакционном поручении была. Забегая вперед, могу сказать, что с заданием я успешно справился. Я вообще любил успешно справляться с заданиями.

В пабе никого не было. Вышла хозяйка, рыжая, вся в веснушках, молодая женщина. Кажется, она была шотландкой. Шотландцы любят русских. Потому что схожи характерами. А еще она была похожа на Зинку-геологиню, мою безответную любовь в шестнадцать лет.

Я сразу уловил сходство. И тут же, про себя, окрестил хозяйку Веснушкой.

Веснушка, позевывая, сообщила мне: только что звонил тот сэр, который назначил столь раннее свидание, и попросил меня вернуться назад, в Лондон, на улицу Цветущего Сада. В известный мне бар, принадлежащий одному из солистов легендарной группы «Роллинг Стоунз».

Понятно. Резун, с его комплексами невинной жертвы тоталитарного режима. И шпионскими играми в «кто кого выследит первым».

А улица с таким названием в том городе действительно была. Ведь мы и приехали тогда с моей любимой женщиной, которую я еще не называл Фиалкой своей жизни, в далекий город на Темзе не для того, чтобы выполнять сомнительные поручения партии и правительства. С использованием отравленного зонтика.

Просто уже тогда мы грустно искали тропинку в распадок Вечной весны. Где растет багульник. Если вам неизвестно слово распадок, назовите его долиной.

Я раскурил трубку с вишневым табаком. Я знал, что женщинам нравится этот запах. Я хотел понравиться Веснушке, у которой с утра пораньше в пабе вкусно пахнет кофе и табаком. И заказал чашку кофе по-американски.

И тут под окнами паба, на автомобильной стоянке, что-то заулюлюкало и заверещало. Мелькнули проблески «люстры» полицейской машины. В пивной зал вошли двое полицейских, типичные английские Бобби, и еще один – в штатском, с незапоминающимся лицом. Они прямоком направились ко мне. Я не сжался и не побежал в туалет. Но трубку аккуратно притушил. А вдруг у них нельзя курить трубки в пабах в половине седьмого утра. Еще я плохо подумал о Викторе Суворове. Неужели, подумал я, он кинул мне подлянку? Сейчас они подхватят меня под белы ручки. Или – подбросят пакетик с наркотиками?

Гражданский тусклым голосом поздоровался со мной и спросил:

– Вы не видели тут высокого черного человека, он минут двадцать назад шел по мосту в сторону города?

Отрицать было глупо. Хотя по инструкции, кто не знает, чаще всего надо отрицать. Вдруг они придумали версию о том, что негр, курьер коммунистической партии Великобритании, шел на встречу с русским разведчиком, чтобы получить очередной транш из денег КПСС? Тех самых пресловутых денег партии, которые тогда еще не начали искать всем миром. Или – какое-либо секретное задание. Типа уколоть премьер-министра Англии зонтиком.

Премьер-министром Великой Британии была тогда Маргарет Тэтчер. Между нами говоря, я ее сильно уважал. Хотя из рядов КПСС я тогда еще не вышел.

– Да, я его видел. А в чем, собственно говоря, дело?!

В подобных ситуациях важно перехватывать инициативу и переходить в наступление. Вплоть до радикального: «Я являюсь подданным иностранного государства и прошу пригласить моего адвоката!» Еще лучше – консула.

Но безликий человек в сером плаще и с вялым голосом, по всей вероятности, тоже изучал тонкости ведения специальных бесед.

«Ми-пятые, – думал я про себя, – заходят на цель».

Агент явно заинтересовался моим произношением английского. Его родного языка. Подозреваю, он догадался о предстоящей возможности общения с русским консулом в прибрежной пивнушке под названием «Якорь».

– Дело, собственно говоря, в том, что мы из полиции, – сказал тусклый.

– Вы знаете, очень трудно догадаться, – парировал я.

Тусклый сунул мне под нос какой-то бейджик. Удостоверение личности.

Из-за стойки бара, вытирая руки о передник, вышла моя несравненная. Моя рыжая. Моя Веснушка. Мой подсолнух.

– Этот мистер сидит у нас полчаса. Ему назначил свидание другой джентльмен. Он только что звонил. Он подъедет. А что случилось с тем черным человеком?

Моя солнечная. Моя золотистая. Как поляна из моего юношеского сна. Мне кажется, она ничего не знала о статье Уголовного кодекса, которая на всех языках мира звучит примерно одинаково. «Дача заведомо ложных показаний» – вот как она звучит. Все-таки вишневый табак – сильная штука.

Тусклый спрятал ксиву.

– Тот негр (black man) прыгнул с моста. Разбился, конечно, насмерть. Он ударился о бетонный выступ опоры. Может быть, кто-то помог ему прыгнуть? Вы не видели – он шел один или с ним был кто-то еще?

– Он шел один. Совершенно один... Но он сильно плакал.

– Вы не пробовали остановиться и поговорить? Может, предложить помощь...

– Нет. Я боялся опоздать. Я спешил на встречу.  
Это я, Господи!

Веснушка выразительно посмотрела на меня. В советских школах нас учили: в капиталистическом мире нет милосердия, там человек человеку не друг и не брат, а – волк.

Под взглядом Веснушки я заскучал.

В дальнем углу паба возникла бабка Матрена в черном, до пят, платье. Она поджимала свои губы. Делала их бритвочкой.

Она не могла не появиться здесь. Каждый день, посещая библиотеку русского департамента Лондонского университета, я узнал среди прочего, что первая община баптистов была основана в Англии в 1633 году. А уж потом они расползлись по всему миру.

И старый зэк с огромной наколкой на спине, с простеньким крестиком на груди, тоже сидел за соседним столиком. Прихлебывал темное пиво Гиннес. И Матрена Максимовна, и старый зэк, так и не дошедший до своей Тамбовщины, не укоряли меня. Они просто пришли меня проведать.

Подъехала машина «Скорой помощи». Из приоткрытой дверки торчали босые черные ноги. Негр был таким высоким, что тело его не помещалось в кабине. А босым он был потому, что при сильном ударе человека, упавшего с большой высоты на землю, обувь слетает с ног.

Тусклый и полицейские заспешили на улицу. Но мой телефон и адрес на всякий случай записали. Позже меня пригласили в полицейский участок, я расписался в бумагах и осторожно выяснил, что же случилось в то туманное утро с красивым негром. Все оказалось до жути просто. Измена любимой. Предательство друга. Растраченные деньги на музыкальный проект. Негр был известным джазовым продюсером и саксофонистом. И о нем написали в таблоидах.

А если бы я пригласил его в паб и предложил выпить по сто грамм виски в розлив? Даже без положенной в таких случаях конфеты «Ласточка» на закуску?

У каждого свой крест.

Забыть историю с негром, случившуюся в шесть часов пятнадцать минут утра по-лондонскому времени, я не смог. Хотя и пробовал. А как?

Бóльшего креста, чем ты вынесешь, Бог не дает.

Бабка Матрена чуть было не сгорела заживо.

Мама и Иосиф ушли в баню. Не в общую – деревенскую, а кто-то из соседей пригласил. В покосившуюся избушку на курьих ножках, которая обычно топилась по-черному. Но зато своя. Без опостылевшего коллективизма.

Мы остались с бабушкой вдвоем. Я не помню, сколько лет мне тогда было. Я даже не помню, ходил ли я в школу. Но все случившееся тем вечером помню отчетливо.

Красная раскаленная плита печи. Была зима, на улице мороз за тридцать, и печи топили так, что чугунина раскалялась до малинового жара. Бабушка подошла к печи, наклонилась, что-то помешивая в кастрюле. Или она хотела снять закипевший чайник.

Длинные концы черного платка коснулись раскаленной плиты и вспыхнули. Волосы затрещали на голове Матрены. Потом занялись рукава платья. Потом, мне показалось, она вспыхнула вся, как факел, и повалилась на пол.

Это мы, Господи!

Позже врачи сказали маме, что, если бы мальчик не стал поливать Матрену водой, ни о какой пересадке кожи не могло быть и речи. Бабушка бы просто умерла от ожогов, не совместимых с жизнью. Я запомнил страшное выражение «не совместимые с жизнью».

Тем мальчиком, который поливал Матрену водой, был я.

Бочка с водой стояла в сенях, я распахнул настежь дверь кухни и сначала ковшом, а потом уже и ведром стал заливать мою несчастную бабушку.

Почему я говорю, что отчетливо помню случившееся?

Потому, например, что бочка с водой была высокой, и чтобы зачерпнуть из нее ведром, мне пришлось карабкаться на табуретку. Я был реально маленький ростом. До десятого класса на уроках физры стоял в строю последним. Потом меня сменил на этом посту Гена Касаткин. Говоря по-морскому, мы стояли на шкентеле. Часто меня называли Шкет.

И я не знаю, кто надоумил меня поливать Матрену водой.

Вернулись родители. Мама запричитала. Бабка Матрена сидела, опустив красные руки в ведро с водой. Смотрела прямо перед собой. Лоскуты кожи свисали с ее лица. Матрена сурово посмотрела на мать: «Не голоси! У каждого свой крест... Больше, чем надо, Бог не дает. Достань пузырек с медвежьим жиром!»

После случившегося баптисты говорили: Старшая Сестра прошла испытание огнем и окрепла в вере. Закалилась и возвысилась. Победила смерть.

Бабка Матрена уже не вставала с постели. К приезду единоверцев она просила маму повязать ее голову свежим платочком и подложить под спину побольше подушек. Так и сидела. С просветленным лицом, с единственным глазом, наполненным непонятной мне глубиной. Опять читали свои талмуды с медными пряжками. Потом обедали рыбой с картошкой.

Как всякая больная, прикованная к постели, бабушка часто вредничала. «Клаша, – просила она маму, – налей-ка чаю!» Мама наливала. Матрена серчала: «Налила, как украла! На самом донышке». Мама покорно доливала кружку. Бабка сердилась еще больше: «Больно много налила! Губами не притронешься...»

Уже в раннем детстве я узнал, что такое пролежни. Мама прибегала из школы и тут же меняла простыни, переворачивала Матрену с боку на бок. А еще – обтирания марганцевым раствором, вместо душа, смена марлевых повязок с вонючей мазью. Наконец, утка.

После утки бабушка беззвучно плакала, отвернувшись к стене. Ей было стыдно. Мама утешала ее: «Что вы так расстраиваетесь. Я же вам дочь, а не посторонний человек!»

Мама звала бабушку Матрену на «вы» до самой смерти. Так было принято в наших деревенских семьях. И я свою маму долго называл на «вы». И отчима. До самого института.

Я помню и тот май, когда Матрена позвала отчима и приказала: «Ёзеф! Завтра вынесешь меня на улицу!»

Никаких инвалидных колясок в нашей деревне и в помине не было. Мама предложила позвать на помощь Мангаевых. Бабушка Матрена была старухой статной. Болезнь нисколько ее не иссушила, а даже и наоборот. Тело Матрены расплылось, сделалось рыхлым. Но тут завредничал Ёзеф. Он поджал губы. Не хуже, чем Матрена, и сказал: «Сами справимся!»

Он как-то очень ловко подложил под бабку одеяло и подхватил ее на руки. Матрена, в свою очередь, цепко ухватилась за шею нелюбимого зятя. Мама поддерживала один край одеяла, я другой.

Так и вынесли.

Бабку усадили на крыльце, ноги укрыли шерстяным платком. По такому случаю мама принарядила Матрену не в черный, а в цветной платочек. И платье в тот день, и теплая кофта на плечах бабушки были тоже праздничными. Родители, наверное, догадались, что Матрена прощалась. С первой зеленой травой, голубым небом и проталинами на Амуре, все еще закопанном ледяным панцирем, но уже с проплешинами во льду – майнами.

Приходили соседи, кланялись Матрене, и все, как один, говорили: «Ну, Максимовна, раз на солнышко выползла – дело на поправку пойдет! Выздоровливай!»

Матрена Максимовна в ответ царственно наклоняла голову, благодарила соседей и просветленно шурилась на солнце. И розовые после пересадки, почти младенческие, лоскуты кожи светились на ее скулах и под глазами. Темные очки бабка не забыла надеть и на этот раз. Она блюла себя.

В тот день она попросила почитать для нее молитвы не моего дружка Женьку, а меня. Теперь, конечно, я вижу в этом особенный смысл. А тогда, не вредничая, просто согласился.

Понимал, что так надо. Мама принесла маленькую скамеечку, я присел у ног Матрены, читал, а она гладила меня по голове. Конечно, я не понимал и уж тем более не запомнил того, что читал вслух. И только одно имя из прочитанного врезалось тогда в память.

Варвара.

В молитве часто упоминалось имя Варвары. А запомнилось, наверное, по непонятной мне близости к другому имени – имени моей бабушки. Матрены.

Пришло время, и я отыскал молитву, которую читал на прощание своей бабушке. В содержании «Молитвенного щита» она значилась в главе «Молитва о больном, которому нет надежды на выздоровление, который мучится и мучит других, скорее был призван к Богу». Именно такова редакция названия молитвы в молитвеннике. Я проверил не один раз.

Молитва называлась «Великомученице Варваре».

«К тебе... святая дево Варваро... аз немощный, припадая, молюсь...  
Глава твоя, мечу преклоненная, да даст главе моей воду чистительных грехов.  
Власи твои... да привяжут мя к любви Божией. Устне твои да заградят уста мои  
от празднословия... Очи твои... Сосца твоя... Раны твоя... Смерть твоя...»

Даст главе моей воду чистительных грехов.

Баптисты, помимо отрицания таинств и обрядовости христианской церкви, предоставляют всем членам своих общин право свободного толкования священных книг. А в смерть они, конечно же, не верят. И Матрена Максимовна не верила тоже.

Я не стал баптистом. И вообще я в церкви, к стыду своему, бываю редко. Была бы жива бабка Матрена, уж она-то точно главе моей, мечу преклоненной, дала бы воду чистительных грехов.

В деревне задумали сносить старое кладбище. Там были похоронены первые, кто основал Иннокентьевку-на-Амуре. Мои дед и бабка Ершovy тоже были похоронены на старом кладбище.

Я уже работал в краевой газете, в Хабаровске. Мама телефонировала мне. Я приехал, пришел к Поликутину, бывшему моему преподавателю. Он учил нас беззаветной любви к неграм. Иван Маркович к тому времени стал секретарем колхозного парткома. Сидел в отдельном кабинете.

– Что будем делать, Иван Маркович? – спросил я.

Поликутин, казалось мне, совсем не постарел. Только пряди волос, распадавшиеся, как у Максима Горького, посередине головы, стали седыми.

Иван Маркович достал из шкафчика поллитровку коньяка и план электростанции, которую колхоз-миллионер наметил строить на месте старого кладбища.

– Я уже и в горьком был... Ты когда сам последний раз на кладбище ходил? Могилы брошены, затоптаны скотом, оградки все поломаны и кресты снесены. Уже и не разобрать, кто где лежит. Мы сами виноваты, Саня. Лучше поговори с матерью – нужно найти новое место для кладбища. Чтобы потом никто не тронул. А кости перенесем.

Мы выпили по рюмке. Поликутин был воинствующим трезвенником во все времена. Бутылку, как я понял, он держал для гостей. А тут не выдержал. Приложился вместе со мной. Важный вопрос решали.

Возразить Ивану Марковичу мне было нечего. Сами виноваты.

Мама, тогда уже председатель Иннокентьевского сельского совета, выбрала место для нового кладбища. Место называлось гектар. Огромное поле, по краю лес, в котором росли белые грибы. Именно здесь и находились тайные плантации известных деревенских грибников Адольфа Лупейкина и моего отчима, Иосифа Троецкого.

Там они и лежат теперь. Все вместе. Отчим, Лупейкин, Хусаинка, Женька-жопик, моя мама и Поликутин Иван Маркович.



Снести кладбище на гектаре я уже не позволю никому. Даже если нынешний Восточный рыбокомбинат, образовавшийся в деревне вместо рыболовецкого колхоза «Ленинец», надумает строить атомную станцию.

Кресты, ограды и памятники – все на месте.

А белые грибы в том лесу растут по-прежнему.

Я проверяю каждый год.

Я сажусь на крыльце дома Славы Мангаева – сына Хусаинки, ставлю перед собой ведро и чищу белые.

Да их и чистить-то по большому счету незачем.

Боровик к боровику – без червоточки.

Чистейшие грибы.

Не знаю, растут ли где-то еще такие.

## Отчим

Мой отчим Иосиф Троецкий был человеком с большими причудами.

У него, как говорят сегодня, сносило крышу. Когда он не пил, он так же, запоем, читал книги, знал и пересказывал наизусть лучшие фильмы, был отменным грибником, соперничая по этой части лишь с одним мужиком в нашей деревне – человеком с выразительной фамилией Лупейкин. И не менее выразительным именем Адольф.

Нетрудно догадаться, какие клички давали в нашей деревне Лупейкину.

Еще мой отчим обладал удивительной способностью. Он не боялся собак. Взглядом останавливал самую злобную. И собаки как бы признавали его за вожака своей стаи. Отчим, особенно когда был трезвым, обещал научить меня умению не бояться собак. Но все ему было как-то недосуг.

Теперь, вспоминая его, я думаю о том, что Иосифу не хватало в жизни радости. А кому ее тогда хватало?

Однажды Иосиф стал позиционировать себя охотником.

Ближе к вечеру он опоясывался патронташем, перекидывал через плечо двустволку – очередной дробосрал, который он выменивал на пару бутылок водки, а на голову водружал шляпу с узкими полями и перышком. Я не знаю, откуда в нашей деревне могла взяться шляпа тирольского стрелка.

В таком виде он шел на заболоченную марь, расположенную между берегом реки и сопкой, на которой раскинулась наша деревенька. Прямо за домом Мангаевых. Там он сооружал засидку в камышах. Мама посылала меня звать отчима на ужин. Я возвращался один.

– Ну, что? – спрашивала мама. – Сидит?

– Сидит, – отвечал я.

– Комары жрут?

– Жрут!

– А что говорит?

– Говорит, что он какой-то Тартарен из какой-то Тарасконы.

Мама хохотала.

Она давала читать Иосифу книги больших писателей. С мировыми именами. Мама повышала начитанность своего нового мужа. По всей вероятности, Альфонс Доде и его бессмертный «Тартарен из Тараскона» входили в обязательный курс повышения интеллигентности. Позже, учась на филфаке, я прочитал роман и понял творческий замысел Альфонса. Отчим меня шокировал. Неужели Иосиф сам над собой иронизировал? Может, он просто не понял романа? Ведь образ Тартарена, враля и бездельника, сатирический!

Деревенские мужики относились к промыслу вообще и к охоте на водоплавающую птицу в частности, как к занятию серьезному. И, конечно, они, занятые уходом за скотиной, сенокосом, рыбалкой, заготовкой дров – в зависимости от сезона, не могли позволить себе каждый вечер сидеть в камышах у деревни, слушать кваканье лягушек и подливать в оловянный стаканчик из солдатской фляжки.

Стаканчик был очень ловкий, фляжка – пузатая, а кроме лягушек, на этом болоте ничего не водилось.

Такую вольность в занятиях мог себе позволить только киномеханик. Иосиф считал себя гуманитарием. Ни поросенка, ни овцы, ни коня, ни другой живности, кроме куриц, на нашем дворе я не припомню. Только однажды, кажется, мы держали корову и поросенка, которого звали, конечно, Борька.

Наутро в заводи у дебаркадера «Страна Советов», где шла подготовка к кетовой путине, – перебирались сети, проверялись моторы, мужики осторожно интересовались:

– Ну что, Ёська, добыл вчера утку?

Осторожно, потому что знали нрав моего отчима. Заподозрит насмешку – может и драться полезть. Характер Иосиф имел непредсказуемый. Особенно по пьяному делу или когда маялся с похмелья.

Но вопрос отчиму нравился. Он с важным видом отвечал:

– Подстрелил двух крякашей! Ушли подранками. Собака нужна – лягавая...

В нашем доме жила овчарка по кличке Клык.

Пограничники с Нижнеамурской заставы заехали как-то на своем катерке в деревню. За мылом, хлебом, пряниками, тушенкой и конфетами-подушечками. Других товаров в сельпо не водилось. Еще были шоколадные – «Ласточка».

Зато всегда стояла большая бочка водки в розлив, из которой продавец дядя Ваня Злепкин поил всех жаждущих. Для похмельных мужиков существовала отдельная очередь. Водку разливали по стаканам специальным черпачком, на длинной ручке. Сто грамм и «Ласточка». Вот вам и радость.

Погранцы отстояли очередь к бочке, быстро отоварились и легли обратным курсом. То есть обратным курсом лег их катерок. А погранцы, как всегда, высматривали в окуляры бинокля нарушителей границы. Где они их видели, я не знаю. Китай и Япония от нас далеко-далеко.

Каким-то образом их щенок (молодая овчарка) выпрыгнул за борт и приплыл на берег. Видимо, пограничники вовремя не спохватились, а потом не стали возвращаться. Подобрал щенка мой отчим.

Кобелька, за мощные лапы и широкую грудь, за торчащие уши и благородный палевый цвет, он назвал Клыком, в духе джек-лондоновских рассказов. Все-таки литература играла заметную роль в жизни Иосифа. Альфонса Доде со счетов тоже не сбросишь.

Говорят, что со временем собаки становятся похожими на своих хозяев. Но овчарка не повторила дурного характера киномеханика.

Клык был собакой доброй и отзывчивой. Шел к любому человеку. За что и поплатился. Пьяные нивхи, местная народность Нижнего Амура – мы их тогда называли гиляками – подманили красивого пса, убили. А из мяса сварили похлебку. В те времена аборигены-нивхи еще ели собачье мясо, оно входило в их традиционный рацион и не вызывало особых вопросов русских пришельцев, завоевателей Нижнего Амура. Не знаю, как сейчас.

Иосиф очень горевал, когда узнал о гибели нашего пса. Горевал он привычным для него способом – пил. Понять его было можно. Верность овчарки была потрясающей. Когда отчим пьяный валялся на диване, Клык ложился в ноги и грозным рыком предупреждал каждого, кто пытался приблизиться. Иосифу совсем не обязательно было для охраны собственного тела втыкать нож-финку в табуретку. Или метать ее в бревенчатую стену. Тем не менее, он это делал регулярно. В смысле, экспериментировал с финкой.

Клык охранял его везде, где бы отчим ни упал, устав от алкоголя. А падал он не только на диван в доме, но часто и просто на галечный берег. Он также любил засыпать в трюмах старых кунгасов и под перевернутыми кверху днищами лодками. Хотя морского волка, в отличие, скажем, от того же охотника, он из себя никогда не изображал.

Мне казалось, что Иосиф вообще моряков недолюбливал. В частности, моего папашу, капитана. В свое время отец ушел от нас в другую семью. Я всегда от кого-то знал (наверное, от Лупейкина), что в порту Маго-Рейд, в нескольких километрах от нашей деревни, у меня есть сестренка по имени Людка. Сестренка по отцу. Матери – разные.

Итак, Тартарену потребовалась собака-охотник. Очень скоро она появилась. Иосиф привел на поводке крупного щенка, месяцев трех или четырех, неизвестной породы. Щенок был очень смешной. Во-первых, он был рябой. То есть его туповатую по-бульдोजьи мордочку украшали пятнышки рыжего цвета. При желании их можно было бы назвать веснушками, но не

уверен, что сравнение собачьей морды с человеческим лицом будет корректным. Сам собак (его все время хотелось называть не собакой, но собаком) был серо-пепельной масти.

Во-вторых, по первой же команде он с готовностью садился, поджимая хвост, склонял голову и внимательно смотрел на того, кто ему команды отдавал. Одно ухо щенка торчало вверх, как у летучей мыши, другое просто болталось. А хвост, в желании немедленно исполнить волю хозяина, начинал неистово колотиться о крашеный пол или о галечный берег. В зависимости от места, где Иосиф ставил свои кинологические опыты. У него даже появилась книга-учебник по кинологии – науке дрессировать собак.

Насколько я помню, ни одной команды щенка выполнить не мог. Или не хотел? Он тыкался в ноги и руки своего дрессировщика, вилял хвостом и умильно улыбался.

Вот именно что улыбался.

Опять некорректно.

Но что иное, если не улыбку, изображал мой щенок, сузив глаза, растянув мордочку и прижав уши к голове?

Мы никогда не можем сказать про кошку, что она улыбается. Ластится – да. Но улыбается?! Зато собаки улыбаться умеют. Я редко встречал собак не улыбочивых. Даже бультерьер-убийца изображал некое подобие улыбки на своей безобразно-розовой морде, когда к нему приближался человек с ошейником, униженным шипами. Я видел это сам.

Очень скоро стало ясно, что щенок совершенно бестолковый и не расположен к тренировкам. Когда же он ни с того ни с сего вдруг радостно задрал ногу и помочился на полубо-тинки Иосифа, отчим презрительно пнул его и сказал:

– Какой-то он... Цабэрябый! Не будет толку. Обмочил все мои баретки.

Мужские туфли тогда называли баретками. Но вот почему отчим назвал щенка Цабэрябым, понять трудно до сих пор. «Рябый», наверное, все-таки от того, что мордочку щенка украшали то ли оспинки, то ли веснушки, из которых росли мягкие и длинные волосины. Со временем на нижней челюсти мордочки Цабэрябого отросла борода. Приставка «цабэ», по всей вероятности, обозначала уровень презрения Иосифа к незадачливому кобельку. Позже я узнал, что существует такая фамилия – Цабэрябый. Такая же, как Иванов и Сидоров. Ничего специального или особенного.

Сам отчим стал называть щенка Ссыкуней. На коленях, с тряпкой в руках, я ползал по всему дому перед приходом Иосифа. Но он все равно находил следы буйного характера щенка, оправдывающего свою неблагозвучную кличку.

Отчим оставил всякие попытки превратить Цабэрябого в Лягавую. Иосиф стал равнодушен к щенку.

Целыми днями Цабэрябый гонял с нашей ватагой по улицам, задибался на ленивых летом гиляцких нартовых собак, охотно бежал по тропинке к Шпилю, у подножья которого мы ловили касаток и жгли свои костры. С радостным лаем он бросался за мной в воду. И очень скоро я заметил особенность в характере пса. Из воды он пытался вытолкнуть меня на берег. Он как будто чувствовал опасность быстрого течения у отвесной скалы и всякий раз хотел спасти меня от гибели. Он царапался, толкался лобастой головой и отчаянно лаял.

Цабэрябый выбрал для себя вожака. Вожак для него стал я.

Очень скоро мы стали называть его Цапкой. Нападая на мальчишек, щенок мог цапнуть за ногу или за руку, но делал он это, как бы намечая укус и не стараясь прокусить тело до крови.

Летом я спал на сеновале, под крышей дома, оборудовав там постель и то, что пацаны всего мира называют штабом. Моим штабом было некое подобие морского кубрика. Ведь я мечтал стать моряком. Отчетливо помню, что я не хотел идти в киномеханики. Хотя отчим достаточно часто брал меня с собой в кинобудку и учил запускать установку «Украина». Нужно было крутануть ручку, лента начинала трещать, и на белом полотне экрана двигались, целовались, стреляли друг в друга фигурки человечков.

В моем штабе висела карта речных лоций Амурского лимана, найденная в бумагах, оставшихся после ухода отца. Имелся настоящий штурвал с потрескавшимися, но отлично отлакированными ручками, для того чтобы перехватывать колесо, когда звучит команда «Лево на борт!». Или наоборот – «Право руля!» Штурвал крепился к рулевой колонке, ее заменял обыкновенный брус, прибитый к стропилам крыши. Вообще же стропила, облепленные паутиной, почерневшие от времени – избу срубил еще мой дед, могли при достаточном воображении сойти за шпангоуты пиратской шхуны. Мы таким воображением обладали.

Команду в штабе-кубрике мне мог отдавать только один человек – Хусаинка, дружок-чеченец. Мы оба имели наколки маленького якоря на правой руке. Наколки нам делал Адольф Лупейкин. Штурвал для нас тоже добыл он. Штурвал был скручен со старого (рваная пробоина в днище) колхозного катерка с непонятным названием «Квадратура». «Квадратура» доживала свой век на косе, недалеко от болотца, куда Иосиф ходил охотиться.

Теперь – Лупейкин.

Адольф имел два прозвища. Одно, разумеется, Гитлер, а второе – Залупейкин. Последнее касалось не только его фамилии. Адольф Пантелеевич портил деревенских девок и был грибником-асом. В тайге и на дебаркадере все и происходило. Он как бы совмещал полезное с приятным.

Адольф Лупейкин, выпив бутылку дешевого вина, рассказывал, как он в молодости служил матросом на парусно-моторной шхуне «Товарищ» вместе с моим отцом и как нужно обращаться с женщиной, когда остаешься с ней один на один.

Со временем в моем штабе появился настоящий компас. На тумбочке лежала фуражка с морским «крабом» и дубовыми ветками, которые назывались «капустой», часы «Мир» – золотые, на браслете, и кортик с туповатым лезвием. Вещи остались от моего отца-капитана.

К тому времени, когда создавался штаб на чердаке, отца уже не было в живых. Он неожиданно умер в море, неподалеку от порта Де-Кастри. Он умер на судне, которое называлось «Шторм». Его вещи передала мне по наследству отцовская вдова. Его вторая жена, которую я до сих пор, теперь уже в воспоминаниях, называю мамой Диной. Я уже знал тогда совершенно точно, что взрослые мужики уходят к чужим тетенькам. А случается и наоборот: мамы выходят замуж за чужих дяденек.

На крышу нашего штаба вела достаточно крутая лестница, которую мы с Хусаинкой называли штормтрапом. А как еще по-другому могли мы ее называть?! Цапка непременно хотел быть третьим участником игр на чердаке. Он бегал вокруг дома, прыгал на стены и звонко лаял. Наконец, визжа от страха и дрожа всем телом, песик забирался по узкой лестнице на сеновал. Назад его приходилось спускать на руках. Потому что собаки могут спускаться по лестницам только мордой вперед. И вот здесь он бы точно кубарем сыпанул вниз.

Цапка быстро подрастал и превращался в упитанную собаку-подростка. Спускаться с ним по лестнице было тяжело. Но он покорно затаивался на руках, понимая важность операции.

Очень скоро пришли беды. Цабэрябый раздражал Иосифа своим бесконечным, отчим считал – не мотивированным, лаем. По поводу и без повода. Подрастающий щенок приобрел дурную привычку писать на обувь и вещи Иосифа. Мама говорила отчиму:

– Ты бьешь его, а он тебе мстит. Он ссыт в твои ботинки.

Наверное, мама говорила как-то по-другому.

Она никогда не то что не материлась, но даже и не произносила обиходных в деревне слов. Мама не пила вина и водки. Матрена Максимовна строго воспитала свою дочь.

Еще до революции родители и родственники Матрены, всем своим сектантским кагалом, сбежали на Дальний Восток. Они хотели молиться не доскам с намалеванными ликами, а Богу, который был у них у каждого в душе.

Ведь Бог должен быть в душе у каждого? И посредники в золоченых рясах истинному верующему не нужны. Вот как ставила вопрос моя бабка Матрена, Старшая в вере Сестра.

Я знаю точно, что моя мама баптисткой не была. Но она и не вступала в ряды коммунистов. Даже когда стала председателем сельского совета.

Просто баптисты, кажется, умели воспитывать своих детей в опрятной строгости. Идеологическая разборчивость в вопросах веры, как мы помним, отличала этих людей со времен «проклятого царизма». Так говорил нам в школе Иван Маркович Поликутин на уроках начавшейся еще в пятом классе истории – «проклятый царизм». Мне становилось сразу непонятно, почему царизм должен быть обязательно проклят? Кем? Пролетариатом и трудовым крестьянством? А некоторые, что тоже стало ясно из истории, царизм любили. Например, те же кулаки и белогвардейцы. Или адмирал Невельской, мой кумир, вместе с адмиралом же Колчаком. Не говоря об антоновцах, поднявших крестьянский мятеж. Но я остерегался так остро ставить вопрос о царизме перед Поликутиным. Потому что, во-первых, он был директором школы. И я его побаивался. Во-вторых, вы помните, Карл Маркс я писал тогда через черточку. В-третьих, у меня уже был пример подобной – острой, в свое время – постановки вопроса бабкой Матреной. И чем все у них там закончилось, мы хорошо помним. Пришлось убежать к черту на кулички. На край, по существу, земли. Мне убежать было просто некуда. Только разве что на Сахалин.

Вообще конек Ивана Марковича – тема рабов и их угнетателей. От него я узнал о борьбе американских индейцев с испанскими захватчиками. С воодушевлением романтические рассказы об ирокезах и апачах я передавал Адольфу Лупейкину. Лупейкин ехидно улыбался и подбивал нас с Хусаинкой задать Поликутину вопрос о местных аборигенах-нивхах. И русских во главе с моим героем капитаном Невельским, захвативших Амур и поработивших малые народы, заселявшие берега великой реки. Лупейкин заявлял, что у гиляков и их собратьев – американских индейцев – судьба одна и та же. Я не верил. Но задавать вопрос Поликутину остерегался по той же причине, по какой не спрашивал о проклятом царизме.

Иосиф отвечал маме в ярости:

– Сначала он мочится, а уж потом я его луплю!

Получался замкнутый круг. Драма нарастала.

Иосиф лупил щенка нещадно. Хватал за плотный загривок и на весу хлестал толстой веревкой по спине и по заднице. Прижимал коленом к полу и охаживал ремнем. Цапка отчаянно визжал, плакал и поджимал лапы. Я не мог понять, за что отчим бьет мою собаку? Ведь Клыка он любил?! И овчарка его признавала. Не могут плохого человека любить собаки.

Я умолял, рыдал, наконец, с маленькой чугунной гантелей наперевес бросался на отчима. Мама оттаскивала меня. Отчим, брызгая слюной, орал: «Щенок! Весь в папашу!»

Мне бы догадаться тогда, что выражение «Весь в папашу!» было ключевым в нарастающей трагедии. Но понять все до конца я еще не мог. Отчим убежал из дома и с тем же остервенением, с каким бил мою собачонку, предавался пьянке. Заслышав шараханья возвращающегося Иосифа, Цапка забивался под крыльцо и сидел там до тех пор, пока отчим не затихал на своем диване.

Наконец драма достигла своего апогея. Она и не могла его не достигнуть.

Иосиф насолил горбушиной икры.

Для людей, не знающих толка в красной икре, это ничего не значит. Красная она и в Африке красная. Если она, конечно, там есть, на пробудившемся континенте. Так мы, все на тех же уроках истории, называли материк чернокожих. Мы любили Африку всегда, сколько я себя помню. Оставалось непонятным – за что их надо было любить, этих «черно... мазеньких», как называл их Лупейкин. Иногда – и того хуже. Не будем повторяться.

Суждения Лупейкина об Африке и об американских индейцах явно расходились с рассказами Ивана Марковича Поликутина о борьбе гордых людей за свободу.

Вернемся, однако же, к цвету икры, красному.

Для человека, родившегося и выросшего на Амуре, название икра горбушиная скажет о многом.

Первой из лососевых на икромет в Амур идет горбуша. Филе горбуши суховато, из горбуши хорошо делать котлеты, подмешивая в фарш свиное сало, также пропущенное через мясорубку. Но зато икра...

Пожалуй, самая лучшая. Если иметь в виду кету летнюю и осеннюю, из которых тоже извлекается и солится красная икра.

Горбушиная икра мелкая, зернистая, икринка к икринке, и очень жирная. Не обязательно намазывать на хлеб сливочное масло. Она, в отличие от кетовой, чисто обрабатывается, почти не давится, но, к сожалению, и долго не хранится. Если кетовую икру можно заготовить на зиму – даже бочонок или несколько трехлитровых банок, то горбушиной икры много не бывает. И съедать ее нужно быстро. Иначе может испортиться.

Отчим насолил горбушиной икры целый таз. Литров восемь. А может, и десять. Было начало лета. Думаю, что Иосиф собирался реализовать икру речникам судов и суденышек, проходящих, а иногда и швартующихся у нашего дебаркадера. Лупейкин в таких ситуациях обычно бывал в доле.

Литровая банка горбушиной икры в начале 60-х стоила не меньше десяти рублей. Если учесть, что зарплата сельского киномеханика была не больше рублей семидесяти, то в тазике плавал месячный оклад жалования отчима.

Тазик с икрой Иосиф прикрыл чистой марлевой тряпочкой от мух и поставил отстояться в коридоре. Точнее, в полутемных сенях, потому что в деревенских домах коридоров не бывает.

Цапка лапами залез в тазик, извозюкался сам, извозюкал все полы в сенях и стены. Но самое главное, он от пуза нажрался икры, думаю, не самой пригодной для щенков пищи. Неизбежные при обжорстве отходы собачьего пиршества кучками украсили крыльцо дома и тротуар во дворе. На мордочке Цабэрябого висели гроздь засохшего деликатеса.

Щенок не потерял присущего ему оптимизма. При виде подходящего к дому Иосифа он не побежал прятаться под крыльцо, а наоборот, радостно бросился к нему навстречу. По характеру шагов Главной Собаки в доме (Цапка, думаю, все-таки представлял Иосифа вожакom нашей стаи) он определял состояние Иосифа. В этот раз отчим возвращался трезвым. И потому Цабэрябый был уверен, что его не станут мутузить. Не за что. Обмочить баретки Иосифа в тот день он не успел.

Щенок радостно уткнулся в колени Вожака. Пятнышки икры маленькими красными точками расплылись на светлых брюках Иосифа.

Был отчим в те годы к тому же еще и деревенским щеголем – любил принарядиться. Одна шляпа тирольского стрелка чего стоила! А возвращался в тот день трезвым потому, что отчитывался по продаже кинобилетов перед начальством районного проката в недалеком Николаевске.

Отчитался. Выпить не успел.

Иосиф оторопел, глядя на расплзающиеся по брючинам розовые сопли. Потом он быстро прошел в сени. И только тут оценил размеры нанесенного собакой ущерба. Цапка крутился рядом, явно гордясь проделанной работой.

Иосиф от души, с выдохом-гхэканьем, пнул щенка. Не удержавшись, поскользнулся на дурно пахнущих кучках и упал, все в тех же габардиновых брюках, на дощатый тротуар.

В «Судовом журнале» нашего штаба-кубрика осталась запись: «Иосиф упал в дерьмо и блевотину Цабэрябого». И – точная дата. Все-таки мы с Хусаинкой основательно готовились к морской службе.

Цапка отлетел к забору и горестно взвыл.

Иосиф схватил двустволку, висящую на стене в сенцах, переломил ее и начал лихорадочно искать жаканы – патроны с пулями, рассчитанными не на утку, а на крупного зверя: лося, волка, медведя.

Цабэрябый метался по двору, прячась от наведенных на него стволов. Наконец щенок по лестнице стремглав взлетел на чердак, в наш с Хусаинкой штаб. Стремглав, потому что к тому времени он научился подниматься достаточно быстро. Иосиф, матерясь, полез следом.

Страшный грохот, визг Цапки и крики отчима. Крыша, казалось, ходила ходуном, потолок трясся, я дрожал, мама прижимала меня к себе... Наконец все стихло.

Иосиф спускался с чердака. Ружье висело за его спиной. В одной руке отчим держал щенка – за загривок, собака в таком положении становится безвольной. Другую руку он держал на отлете. Из ладони капала кровь. Цабэрябый, защищаясь, цапнул его за мякоть. То есть на этот раз он не справился со своим звериным инстинктом и укус не только обозначил.

У меня все екнуло внутри. И заколотилось сердце.

Я знал закон наших суровых мест: собаку, напавшую на своего хозяина, нужно убить немедленно. Никому не позволено кусать руку, дающую тебе хлеб.

У Иосифа было верное алиби, и он демонстрировал его собравшимся на шум и крики соседям. Пришли Мангаевы, Поликутин Иван Маркович, директор школы, в которой работала мама, его жена – завуч Глафира Ивановна, она маму почему-то недолюбливала, дядя Илья Мартынов – лесник... Все они осуждающе покачивали головами и уговаривали Иосифа пристрелить Цапку не здесь, прямо во дворе, а увести подальше в лес.

Никто не хотел спасать моего собаку!

И мама ничего не говорила. Она лишь молча смотрела на Иосифа. Ее голубые глаза наливались темнотой, знакомой мне и Иосифу. Синева маминых глаз не предвещала ничего доброго. Она предвещала грозу.

Гроза и случилась. Ночью она пришла с юга.

Это была та самая гроза, которая случается в жизни каждого нормального пацана. Думаю, я был пацаном нормальным.

Единственная гроза в твоей жизни – с бабаханьем грома над домом, с адскими молниями, попадающими в крышу твоего кубрика. Гроза, которую ты не забудешь. Она приходит, когда начинается другая жизнь. Только ты этого пока не понимаешь.

Я лежал на чердаке разгромленного штаба и смотрел в пугающую темноту. Я лежал, сжавшись и подтянув коленки к самому горлу. Много лет спустя, в книге хорошего писателя Александра Кабакова, я прочел, что такова поза эмбриона. Она принимается в страхе. В ту грозовую ночь я на время вновь стал эмбрионом. Чтобы потом распрямиться и уже никогда ничего не бояться...

Я даже не стал прибираться в штабе.

Рулевая колонка со штурвалом была свернута набок, морская фуражка отца втоптана в пыль. Я только подобрал часы «Мир», чудом уцелевшие, и теперь держал их в кулаке. Стрелки и циферблат светились. Или мне только казалось, что они светятся?! Молнии залетали ко мне на чердак.

Я никак не мог уснуть. Все картины случившегося я прокручивал заново. Как из кинобудки Иосифа, я видел их на белом экране.

Вот Иосиф, не глядя маме в глаза, протягивает прокушенную руку:

– Перевяжи!

Вот из бельевой веревки он сооружает подобие поводка. Ошейника у Цабэрябого никогда не было. Отчим не дает щенку убежать, прижимая его коленом. Мама – моя мама! – укоряет его:

– Ведь брюки испортишь, Иосиф!

Иосиф зло отвечает:

– Они уже и так испорчены!

Цапка упирается всеми четырьмя лапами, воет, хрипит и бьется. Я бьюсь в руках мамы...



Сон сморил меня под утро, когда гроза ушла, и в мире остался один дождь, мерно шуршащий по крыше.

Я проснулся внезапно. Кто-то, мокрый и с грязными лапами, навалился на меня, повизгивая от счастья и пытаясь лизнуть меня в лицо. Цапка! На шее его болтался обрывок веревки. Вербка была чужой – какой-то замусоленной и волокнистой.

Отчим не стал убивать щенка, а отвел его в соседнее с нашей деревней нивхское стойбище Вайда. Обменял, кажется, на пару свежих горбуш-икрянок или на бутылку все того же «сучка». Водку называли «сучок», потому что тогда ее гнали из древесных опилок. Не знаю, как сейчас.

Гиляки не стали варить из Цапки суп. Решили повременить. Все-таки он был упитанным псом и имел тенденцию к дальнейшему набору веса.

Ночью Цапка перегрыз веревку и прибежал домой.

Иосиф покрутил в руках обрывок, который я ему с гордостью продемонстрировал утром, хмыкнул, но от дальнейшей эскалации насилия (континент чернокожих не сдавался!) отказался. Все-таки ночью многое видится по-другому. И ночью между взрослыми можно решить то, что не удастся решить днем.

К тому времени я уже кое-что знал о ночных отношениях взрослых. Адольф Лупейкин был достойным консультантом. Вальку-отличницу – пшеничные косы и грудка двумя упругими холмиками, с которыми я в то лето слегка поэкспериментировал на сеновале, тоже со счетов не сбросить.

Валька учила меня целоваться.

Три дня счастья, когда Цапка, прощенный всеми, не прятался под крыльцом и носился со мной по улице, как угорелый, миновали быстро. Как выяснилось позже, счастье вообще долгим не бывает. Оно коротко и ярко, как молния грозы, уходящей на север.

То ли в порыве благодарности за отпущение грехов, то ли демонстрируя не до конца потерянные собачьи инстинкты, Цапка загрыз курицу-наседку у Поликутиных. А вместе с курицей и весь выводок цыплят. Двенадцать желтых комочков лежали на крыльце нашего дома. Рядом весело скакал Цапка. Морда в пуху несчастных убиенных.

Что любопытно, добычей он не воспользовался. Как настоящий пес-охотник, он приволок птицу хозяину. Мол, знай наших! Напрасно ты хотел увести меня в темный лес, привязать толстой веревкой к дереву, а потом пальнуть из двух стволов, разmozжив мою умную голову...

Скандал поднялся грандиозный.

Глафира Поликутина, властная завучиха – руки в боки, голосила не своим голосом. Припомнила все. И как мы с Хусаинкой воровали теплые огурцы из ее единственной в деревне теплицы, сооруженной по всем правилам агрокультуры. У всех в деревне росли огурцы с горькими жопками. Огурцы Глафиры Ивановны были сладкими. Об этом знал каждый третьеклассник нашей школы. На бескомпромиссной стрелке, забитой у скалы Шпиль, пацаны нашей улицы договорились об очередности лазанья в теплицу Поликутиных и о квотах забора огурцов, чтобы не вызывать подозрения хозяев.

Я воровать огурцы Глафиры перестал, поскольку был пойман мамой с охапкой пупырчатых плодов за пазухой и немедленно отхлестан той самой бельевой веревкой, на которой позже хрипела моя несчастная собака. Я пробовал соврать, дескать, огурцы из нашего огорода. Но мама тут же надкусила огурец и сняла со стенки веревку. Я искренне удивился: неужели мама тоже лазала в теплицу за поликутинскими огурцами?!

Глафира продолжала кричать.

И про то, что «некоторые» по пьянке выломали ей калитку и вытоптали цветы-лютики вдоль забора. И про то, что другие «некоторые» так и норовят захватить побольше часов и тем самым отбирают законный хлеб у коллег...

Иосиф лупил задушенной курицей Цапку по голове и по морде – перья летели во все стороны. Я метался по двору, стараясь убрать с глаз долой загубленных цыплят. Мама рыдала в доме.

Последнее, насчет «захапать», было неправдой и относилось к ее непростым отношениям с завучихой, которая распределяла часы нагрузки между учителями. Никогда моя мама не отличалась жлобством, а скорее, наоборот – могла отдать последнее. В деревне даже самые горькие пропойцы приходили к моей маме за рублем на опохмелку. Они уважительно называли ее Кирилловной.

Явился и сам Иван Маркович Поликутин, человек степенный и уважаемый в деревне. Иван Маркович недолюбливал меня.

Дочка Поликутиных Ленка сидела со мной за одной партой. Ленка до круглых пятерок не дотягивала. Она была твердой «хорошисткой». Иван Маркович и его жена Глафира Ивановна считали, что учителя сознательно занижают оценки их дочери. А кому-то завывают – например, мне... И моему другу Женьке Розову.

Иван Маркович часто подменял заболевших педагогов. Вообще-то он был математиком, но мог заменить даже историка. Историю, кстати, он очень любил и вдохновенно рассказывал нам про царизм и про континент чернокожих, проснувшийся под рокот тамтамов. И про остров Свободы – Кубу он тоже любил рассказывать. «Куба – любовь моя! Остров зари багровой...»

Да вы, конечно, помните первый рэп советских интернационалистов!

Когда Поликутин приходил в наш класс, все знали: сейчас начнется маленькое шоу. Иван Маркович долго, словно сомневаясь, смотрел в классный журнал и произносил:

– А к доске у нас пойдет... Вот кто у нас сейчас пойдет к доске?! А?

И класс радостно орал:

– Шурик!

Это было все равно, что спросить, куда впадает у нас Волга?

Волга у нас впадала в Каспийское море.

Радостно класс орал потому, что Иван Маркович мог мучить меня вопросами у доски по полчаса, а то и минут по сорок. Времени на других учеников не оставалось. В конце урока Иван Маркович, с характерным прищуром, говорил:

– Ну что, Шурик?! До «круглого» ты не дотягиваешь! Сегодня поставим тебе маленькую «четверочку»...

На что я отвечал:

– Иван Маркович! Лучше поставьте мне большую «троечку»!

Класс прижимал уши. От моей наглости. Дерзить самому директору школы! Сейчас начнется...

Но Иван Маркович был опытным педагогом. Он лишь укоризненно качал головой, отбрасывая с лица длинную прядь волос – у него была прическа интеллигента-разночинца. Как у молодого Горького. Волосы распадались на два крыла посередине головы.

Таким же образом он тренировал Женьку. Женя был сыном учителя пения и труда Георгия Ефимовича Розова и учился на два класса старше нас.

На самом деле, спустя многие годы, ничего, кроме благодарности, к Ивану Марковичу я не испытываю. Он научил меня готовиться к любым экзаменам так, как будто вот сейчас, сию минуту, откроется дверь и войдет... он сам, Поликутин! Строгий и требовательный.

В эпизоде с маленькой «четверочкой» для меня были оскорбительны две вещи. Во-первых, Шурик. Будущего капитана даже в пятом классе нельзя называть Шуриком. Ну разве что маме. Мое домашнее имя стало достоянием широкой дворовой и школьной общественности благодаря Ивану Марковичу. Разумеется, пацаны дразнили меня – Шурик-ханурик. И еще одним нецензурным словом, в рифму. Хотя настоящее мое прозвище было Куприк. А еще – Кубрик. Последнее мне очень нравилось. Потому что морское.

Купером меня стали называть позднее.

Во-вторых, Иван Маркович как бы давал понять, что я каким-то неведомым для окружающих образом заставляю учителей ставить себе завышенные оценки. А вот он, Иван Маркович, мои поверхностные знания разоблачает. Его-то, директора Поликутина, никому не удастся обвести вокруг пальца! Ни Шурикам, ни ханурикам, ни еба...

Иван Маркович оглядел поле битвы, не задержав взгляда на окровавленной курице, встряхнул своими прядями разночинца и сказал. Он сказал, обращаясь к Иосифу:

– Иосиф Тимофеевич! Каким-то образом его нужно ставить на место! Не все же время ему гонять на велосипеде. Вам нужно что-то делать с вашим пасынком.

Так и сказал – пасынком.

Я чуть не задохнулся!

А при чем здесь, спрашивается, я?! Я что ли душил желтых цыпляток и рвал в клочья горло несчастной курицы? Я обжирался горбушиной икрой и бесчинствовал на крыльце, уделав светлые штаны Иосифа?! Я перегрыз веревку и сбежал от гиляков?

Иосиф подошел ко мне и, погладив мою стриженную под ноль голову, сказал:

– Ты ведь совсем большой, Шурка! Ты все понимаешь...

Мама ему не возражала. Моя мама, которую я любил больше всех на свете. Даже больше Вальки-отличницы, научившей меня целоваться.

До позднего вечера я сидел у большого камня на косе, рядом с доживающей свой век «Квадратурой». Камень был теплый, я прижимался к нему спиной. И даже набегающий с реки холодный ветер не мог заставить меня вернуться домой.

Из белых и черных камешков амурской гальки я выкладывал на песке картинки. Домики, взбегающие по склону на сопку, – наша деревня. Корабль на реке – я уплываю из дома. Навсегда. А вот утес – скала Шпиль, на котором стоит девочка с косами. Валька, она машет мне с утеса рукой. И она уже никогда не дождет меня. Портфель из школы ей будет носить Хусинка...

Девочку из камешков было выкладывать всего труднее – у кораблей и домиков четкие линии, а попробуй из камня выложить фигурку девчонки с косой!

Рядом на песке возился Цапка. Сначала он задирался, хватал меня за штаны. Тогда я последнее лето носил еще постыдные пацанячьи штанишки – с помощью через плечо и короткими брючинами, чуть ниже колен.

Цапка не понимал, почему мы не бегаем друг за другом по берегу, не идем к Шпилю, не лезем купаться в омут у скалы. Потом притих, лег у моих ног, положив голову на передние лапы. Он внимательно, одними глазами, следил за каждым моим движением.

Я думал.

К тому времени я стал часто ловить себя за новым занятием.

Я сосредоточенно думал. Какие-то люди, знакомые и незнакомые, приходили ко мне в голову. Как-то они все там размещались. Они начинали бегать, кричать, иногда – плакать. Они стреляли из винтовок, уплывали на катерах, размахивали руками и создавали в моей башке ужасный бедлам. Я даже неожиданно для окружающих вскакивал и начинал бить себя по голове. Многие думали, что я – ребенок с придурыю. Так и говорили: «У Кирилловны пацан – с придурыю». Кое-что и похлеще говорили. Они не знали, что именно так, единственным доступным мне способом, я пытался все происходящее в моей голове расставить по порядку и понять, чего же от меня хотят все эти люди?

В моей голове директор Иван Маркович гнался за курицей, Цапка кусал за пятки Глафиру, а мама с недоумением поднимала из пыли фуражку и кортик отца. Иосиф гладил меня по голове и приговаривал: «И правда – ты очень умный! Ты сам обо всем уже догадался. Ты должен так сделать. Ты только боишься признаться себе в этом...»

В чем – в этом? Сделать – что?!

Наконец в моей голове все сложилось.

Было похоже на то, как много лет спустя моя внучка Юлия собирала пазлы. Не получается, не получается... Вдруг она находит одну, с виду не очень приметную, деталь и – сразу вся картинка проясняется!

Разница лишь только в том, что в нашем детстве пазлов не было. Мы складывали деревянные кубики с сюжетами из русских народных сказок. Сестрица Аленушка и братец Иванушка... Не пей из копытца – козленочком станешь!

Козленочком. Стану.

Значит, так.

Поликутин считал, что родители – мама и отчим – потакают моим прихотям. Захотел велосипед «Школьник» – получи! А все пацаны тем временем с начала лета устроились к леснику дяде Илье – чистить лес вдоль дороги на Николаевск. Зарабатывают деньги. Шурик же без дела носится целый день по улицам или сидит с удочками на дебаркадере Лупейкина. А теперь еще ужасный Цапка! Щенок понимает, что ему, как и хозяину, все дозволено. Поликутин и забыл, наверное, что деньги на велосипед я заработал сам, перебирая старые мешки на колхозном складе.

Наконец злобный окрик отчима: «Щенок! Весь в папашку!»

Значит, что все мы – одного поля ягодка: и я, и мой отец, и моя собака.

Это и был тот главный кубик, который позволил мне сложить разбросанные пазлы в одну картину. Они считают, что я науськал щенка на несчастную курицу. Я заставил его испачкать брюки Иосифа и сожрать икру. Потому что им кажется, что я ненавижу своего отчима... Но ведь все не так! Просто я недостаточно сильно его люблю. Потому что сильнее всех я люблю свою маму. И отца, ушедшего от нас. И уже умершего.

Теперь они хотят возмездия. Наказания за грехи. Они хотят, чтобы я куда-то дел своего Цапку. Куда?! Я понял – они хотят, чтобы я утопил собаку.

И еще я догадался: дело не столько в моем щенке. Дело во мне самом.

И теперь я знал, как мне отомстить им, всем сразу...

Вечерело. Ветер на Амуре крепчал. И он уже погнал волны, свинцовые барашки с белой пеной по гребням.

Я проверил нашу лодку – деревянную плоскодонку, лежащую кверху дном на косе. Весла, грубые и шероховатые, но с отполированными ручками для гребли, лежали под лодкой. Лодка была тяжелой, и мне никак не удавалось перевернуть ее. Звать Хусаинку я не хотел. И уже не мог.

Я стал подкладывать под борт лодки весла, укрепляя их на плоских камнях. По сантиметру мне удалось приподнять лодку на нужную высоту и перевернуть ее. Цапка с интересом наблюдал за мной. Веревкой, которая лежала в носу лодки и предназначалась для якоря, я привязал Цапку к сиденью-перекладине. Цапка мог помешать мне незаметно пробраться в дом. В дом мне надо было попасть непременно. Мне нужно было переодеться. Нельзя было сделать то, что я задумал, в коротких штанишках с лямкой-помочью через плечо и в ситцевой рубашонке в горошек.

На чердак я поднялся незамеченным. Быстро переоделся в брюки, в короткие, по колено, но ладные сапоги и брезентовую штормовку с капюшоном, почти геологическую куртку. На зависть всем пацанам мама купила мне ее в городе.

В мешок из-под соли, грубый и стоящий колом, я бросил два мотка тонкой, но прочной веревки. Нож – складной, с выкидным лезвием, уже лежал у меня в боковом кармане. Зачем-то я бросил в мешок и свинцовый кастет. Мой первый боевой кастет. Мы их отлили с Хусаинкой у Шпиля, расплавив свинец в баночке над костром и залив в форму из глины. Не знаю, зачем я прихватил с собой кастет. Наверное, для твердости духа. Для укрепления веры в то, что я задумал.

В полутемных сенцах, стараясь не брякать крышкой, я взял из сковороды и завернул в газетный лист четыре холодные колеты из свежей горбуши. Мама приготовила их на ужин, и два куска хлеба.

Никто моих приготовлений не заметил. Ни мамы, ни отчима дома не было. Сеанс кино для взрослых начинался в деревенском клубе в 8.30 вечера.

Цапка смирно лежал в лодке. Он знал, что я вернусь обязательно.

Я столкнул лодку на воду и укрепил весла в уключинах. В мешок я положил большой камень, заменяющий якорь, взвесил мешок в руке и добавил еще несколько камней. Горловину мешка затянул тонкой бечевкой. Толстая не годилась. Она могла соскользнуть с грубоватой горловины мешка.

Также быстро я приладил к шее Цапки ошейник. Он не сопротивлялся. Ошейник соединил все той же веревкой с мешком-грузом. Второй моток веревки я припас для себя.

Тут Цапка напрягся, испуганно посмотрел на меня и заупирался так, что сдвинул мешок с места. Тогда я добавил в мешок еще камней – по самую горловину. Потом я достал свой нож – мне подарил его на день рождения Иосиф, и наточил лезвие. Я почему-то знал точно: нож надо наточить.

Он скоро понадобится.

Мелкая дрожь уже начинала колотить меня.

В носовом бардачке лодки, где лежали топорик, котелок для ухи и пара солдатских алюминиевых кружек, я нашел заначку Иосифа – сигареты «Прима» и спички. Я закурил, чтобы унять дрожь в руках. И вдруг я понял, что первый раз курю по-взрослому. У меня не першит в горле, я не сплевываю беспрерывно между ног длинную и тягучую слюну, как делают все мальчишки, когда курят. Я затягивался коротко и сильно, пряча огонек сигареты в кулаке.

Потом я накормил Цапку.

Он съел три котлеты, четвертую лишь лизнул, а к хлебу не притронулся. По обыкновению склонив голову набок и свесив ухо, он вглядывался в мое лицо, старался поймать взгляд. Он тыкался ко мне в грудь и пытался лизнуть в лицо. Может, он просто не понимал, почему я не ем такую вкусную котлету?

Я пересилил себя и сжевал котлету с сухим хлебом, запив водой из Амура.

Тогда еще можно было пить речную воду, зачерпывая ее кружкой прямо с борта.

Уже совсем стемнело, когда я оттолкнулся от берега.

Я совсем не думал о том, что мир наполнен киномеханиками, директорами школ, Глафирами и прочими предателями. Мир наполнен несправедливостью. Для меня такое понимание мира стало ясным именно в тот вечер. Про маму я старался не думать. Не могла она быть с ними заодно...

Я греб и греб, стараясь равномерно опускать весла в набегающую вдоль борта тяжелую волну. Сначала плоскости весел цепляли длинные водоросли кувшинок, росших у берега. Затем вода зажурчала по бортам. Значит, я выгреб на течение. Здесь штормило. И я не заметил, как наступила ночь.

Лодку швыряло с гребня на гребень. Я оглянулся. Линия огоньков нашей деревни пропала. И я понял – наконец-то мы с Цапкой на фарватере.

Пес заскулил. Наверное, от страха. Он никогда не плавал в лодке по штормовому Амуру. Цапка стал тыкаться ко мне в ноги, стараясь заползти под скамейку. Спрятаться ему мешал мешок с камнями, к которому он был привязан.

Ногою я почувствовал, что Цапке передалась моя дрожь.

Я оставил весла и схватился за горловину мешка.

Это я, Господи!..

Я решил, что утоплюсь вместе со своей собакой.

Второй моток веревки я взял, чтобы привязать к тяжелому мешку с камнями еще и себя. Тянул до последнего – трусил. Не мог представить мамино лицо, залитое слезами. Когда нас с Цапкой найдут у Вайдинской косы.

«Просто ухвачусь за Цапку и утонем вместе!» – решил в последний момент.

Быстро перебросить мешок с камнями через борт мешала качка.

Цапка завыл. Потом он зарычал на меня. Он рычал глухо, с перерывами. Лапами он упирался в борт лодки. Наконец мешок все-таки перевалился через борт!

Цапка уже хрипел. Голова его неестественно вывернулась.

Меня трясло так, что я никак не мог нажать кнопку ножа-выкидухи.

Наконец, мне удалось нажать кнопку. Все смешалось в голове.

Я бросился к борту и черкнул лезвием по натянутой веревке.

В ту же секунду раздался глухой удар. Лодку перевернуло.

По гребням волн заплясал узкий и длинный луч прожектора.

Наша лодка попала под борт шедшей по фарватеру баржи-самоходки.

Меня накрыло волной.

Я открыл глаза и увидел столбы мелких пузырьков. Я знал, что я тону.

Совсем маленький – пяти или шести лет, я тонул в первый раз. Пришлый пьяный мужик столкнул меня неожиданно с дебаркадера. Помню, как сразу перед глазами возникли мириады пузырьков. Они поднимались вверх, пробивая толщу воды, а я вертикально уходил на дно. Плавал я тогда еле-еле – по-собачьи. Меня спас старший брат Хусаинки Мангаева – Шамиль. Скинув тельняшку, он бросился в воду. Я вцепился в его тело так, что на спине и плечах Шамиля остались следы от моих ногтей.

К пятому классу я уже плавал отлично. На спор с Хусаинкой я вразмахку огибал скалу у Шпиля по стремительному течению.

Сейчас я тонул потому, что меня захлестывало тяжелой волной.

В очередной раз выскочив, как пробка, на поверхность, я увидел Цапку. Он кружил возле.

Прожектор с баржи-самоходки удерживал нас в ярком, слепящем глаза луче. Я рванулся к собаке. Мы, уже вместе, вновь пошли ко дну. Обеими руками я прижимал к себе тело пса. Цапка отбивался от меня лапами так, что теперь уже на моем лице и руках оставались глубокие царапины.

Я отпустил Цапку. Я понял, что вместе мы утонем. Утопим друг друга.

Но Цапка не уплывал к берегу, а кружил рядом и лаял. Он спасал меня. Как «спасал» много раз, когда мы купались у Шпиля.

Я подплыл к собаке как можно ближе и попытался ухватиться за конец веревки, болтавшейся на шее щенка. Со второй или третьей попытки удалось. Вербка натянулась. Цапка залотил лапами по воде и еще выше задрал морду. Нас сносило. Но теперь меня уже не накрывало с головой волнами.

Самоходка развернулась против течения. Она работала на заднем ходу. У рубки сустились люди. Они спускали на воду шлюпку. Распластавшись по воде, одной рукой я держался за веревку, другой подгребал, стараясь помочь Цапке.

Что же случилось раньше?

Сначала я решил исправить свою страшную ошибку и бросился с ножом, чтобы перерезать веревку и спасти Цапку? И тут мы зачерпнули штормовой воды полным бортом... А уж потом лодка, оставшаяся без весел – их вывернуло из уключин, налетела на самоходку, мы перевернулись и стали тонуть?

Или я перерезал веревку уже в воде, когда мы со щенком шли ко дну с тяжелым мешком, заполненным камнями? Кажется, даже бечевка запуталась в ногах, и мне пришлось сбрасывать сапоги...

Когда нас подняли на борт, стало ясно, что веревку я так и не перерезал.

Ее просто сдернуло с горловины мешка. На конце бельевой веревки болталась бечевка, которой я завязывал мешок. То есть камни вывалились и сами пошли ко дну.

Как же так?! Ведь я же бросился с ножом и обрезал веревку!

И я спас! Спас свою собаку!..

Не мог я тогда знать, что безалаберный и радостный щенок, как и негр, шагающий в тумане, и старый зэк, станут, непрошеными, являться в мои сны. Стоит мне устроиться на сеновале, смежить глаза, как они тут же приходят. Бородатый странник в рубище и с котомкой за плечами, похожий на сборщика податей Матфея Ливия. На спине у него мишень – абрис прицела. Как его нынче рисуют на обложках книг про ментов и бандитов. Высокий и босой негр. Во сне он приходит с саксофоном. Вислоухая рыжая собака с обрывком веревки на шее. А позади живописной троицы шествует старуха в темных очках и с толстой книжкой в руках. Моя бабка Матрена Максимовна.

И они куда-то зовут меня.

И мне хорошо и радостно шагать с ними по берегу.

И любоваться лунной дорожкой на глади Амура.

Я просыпаюсь от шелеста дождя по крыше.

Переворачиваю подушку. Наволочка – мокрая.

Может, от дождинок, задуваемых порывами ветра в маленькое оконце на чердаке?

С той страшной ночи во мне появилась способность не бояться собак. Даже – волкодавов. Она возникла во мне безо всяких тренировок и объяснений со стороны Иосифа. Я входил в вольер к лохматым кавказцам. Они терлись мордами о мои колени и ложились у ног. На меня натравливали пограничную овчарку-захватчицу. Не добежав двух метров, черно-палевая овчарка тормозила и виновато опускала морду. Тот самый английский буль-убийца улыбался именно мне, когда я на глазах потрясенного хозяина почесывал собаку-монстра за ухом.

Мой маленький немецкий шпиц по кличке Веселый Гном Яхонт за час до моего приезда садится у ворот дома и ждет меня. Сейчас, когда я пишу эти строки, он лежит у меня в ногах и предупреждает каждого, кто пытается приблизиться ко мне. Он грозно рычит, этот Веселый Гном Яхонт. Хотя финку в стоящий рядом табурет я не втыкаю.

Он верит, что я – вожак его стаи?!

Или он знает, что я его никогда не предам?

Уже не сумею.

Утром капитан судоходки – оказалось, он знал моего отца, показал мне обрывок бельевой веревки, снятый с шеи Цапки.

– Так ты – что? Хотел его утопить?! Вот засранец! Я отцу-то расскажу – он тебя накажет!

– У меня уже нет отца, – угрюмо ответил я, – он умер. У меня отчим.

Капитан сердито посмотрел на меня и на обрывок веревки. Он пошел звонить в сельсовет, чтобы о случившемся передали моей маме. В деревне был один телефон...

Вскоре на моторке-колымаге – мотор Л-6 (шесть лошадиных сил) пришлепал в порт Иосиф. Был он трезв и молчалив.

Отчим усадил меня на корме, закутав в брезентовый плащ-дождевик. После ночного шторма ветер утих, но небо было затянуто, моросил дождь.

Иосиф и капитан отошли от причала, где пришвартовалась самоходка, о чем-то долго говорили.

Курили, пряча папиросы в кулак.

Цапку решили оставить экипажу самоходки.

Он прибежал на берег, к моторке. По своему обыкновению, уселся, склонив голову набок и свесив левое ухо. Когда он попытался залезть к нам в лодку, капитан прихватил его все за тот же веревочный ошейник. Цапка не сопротивлялся. Он нашел другого вожака.

А может, он не простил мне измену.

Моторку потряхивало на мелких волнах. Мы пробирались вдоль песчаных кос, заросших кувшинками. На фарватер с мотором «Л-6» выходить рискованно. Может захлестнуть волной.

Иосиф обнимал меня, одной рукой прижимая к себе. Другой он управлял моторкой. Я все никак не мог согреться. После купания в холодной воде у меня поднялась температура.

Иосиф, стараясь перекрыть монотонный стукоток мотора, кричал мне на ухо:

– Ничего, Шурка! Вот подожди, скоро я возьму тебя с собой на охоту и научу стрелять из двустволки.

– И я буду как Тартарен из Тараскона, – отвечал я шепотом, улыбаясь.

Меня охватывал жар, тепло простуды блаженно разливалось по всему телу.

– Да, как Тартарен! – Иосиф, обрадованный, что я не молчу, еще крепче прижимал меня к себе, – а собаку мы найдем другую. Ты даже и не сомневайся.

А я и не сомневался.

По щекам Иосифа текли крупные капли.

Могло показаться, что это капли дождя.

Но я-то видел, что текут слезы.



## Отец

Лупейкин на своем дебаркадере напился в зюю, что с ним случалось редко. Мучительно икая, он сообщил мне, что на самом-то деле мой отец, капитан морского тягача, в просторечье именуемого «жуком», был такой же горький пьяница, как и киномеханик Иосиф, и как все они остальные – Лупейкины. И что умер он в море только от того, что на судне с яростным названием «Шторм» капитану не нашлось чем опохмелиться. Даже кружки браги не нашлось. А по-медицински это, конечно, называется красиво «сердечная недостаточность». И все кортики, взятые вместе с морскими фуражками, компасами и штурвалами, украденными с колхозного катера «Квадратура», есть не что иное, как плод начитавшегося гриновской фигни пацана. То есть меня. Вместо «фигни» он сказал другое слово. Сегодня совершенно не цензурное, но не потерявшее своей сути.

– Его же списали к тому времени со всех судов, – злобно откровенничал Лупейкин, – за пьянство. Ему оставалось одно: таскать бревна по морю... Ну ты знаешь: водили плоты из Де-Кастринского леспромхоза в Маго. Для японцев. Сбитый летчик – вот кто был твой папашка!

Я задохнулся. И чуть не заплакал от обиды. При чем здесь сбитый летчик? Мой отец был капитаном!

Я сидел с укутанным горлом на корме дебаркадера и удил чебаков. После ночного купания с Цапкой в холодном Амуре я заболел ангиной. И она никак не проходила. А между тем уже вовсю наступило лето. И мама отпускала меня из дома только на дебаркадер. Под приглядом, как ей казалось, благонадежного Лупейкина.

– Сам ты... Жучара!

Хусаинка вытер мокрые руки о штаны и сжал кулаки. Неподалеку от дебаркадера он ставил проволочный перемет. Рыбалку на удочку Хусаинка не признавал. Впрочем, как и большинство пацанов в нашей деревне. Не говоря о мужиках. Рыбачили на сети, невода и переметы.

Хусаинка присутствовал при рассказах Лупейкина и готов был встать на защиту меня, своего кунака. Кунак – по их чеченским обычаям – больше, чем друг. Почти родственник. Кунаками мы стали, когда кололи якоря. Маленькие татуировки между большим и указательным пальцами. Хусаинка предложил мне смешать кровь, выступающую под иглой. То есть закрепить нашу дружбу до гробовой доски. Что мы и сделали.

А Лупейкин Адольф и правда был похож на жука.

Чернявый, низкорослый и с кривоватыми ногами, он, по непонятным пока для нас причинам, вызывал жгучие симпатии молодых бабенок и девушек. Даже городских. Правда, лысый Лупейкин имел шикарные усы. Таких не было ни у одного мужика в деревне. Усы были по-чапаевски бравыми и сходство Адольфа с жуком усиливали. Иногда, словно дразня всю деревню, Лупейкин усы укорачивал и оставлял под носом лишь щеточку, что полностью оправдывало его кличку Гитлер.

Стоит отдельно сказать про тельняшку, которая выглядывала из-под воротничка неизменно чистой и отглаженной рубашки Лупейкина.

Адольф Лупейкин был обыкновенным матросом-сторожем на барже «Страна Советов», но выглядел по тем временам весьма элегантно. Начищенные до сияющего блеска хромовые сапоги, полувоенные брюки-галифе и умопомрачительная, потертая на локтях рукавов летняя куртка. Тоже хромовая, с застежками-молниями на карманах. Неизвестно было, где он ее добыл. В летной куртке, похожий на пилота-инструктора, Лупейкин ходил зимой и летом. Иногда, при особо важных свиданиях, он надевал на шею кашне из белого шелка и облачался в светлые габардиновые брюки. Лупейкин говорил, забрасывая конец шарфика за плечо: «Европа! Класс А!»

Себя сбитым летчиком Лупейкин, разумеется, не считал. Он всегда считал себя асом. Знакомясь с женщинами и стараясь сразу же поразить их наповал, он протягивал руку и говорил:

– Дебаркэйдэр-майстер Лупейкин. Адольф!

По-моему, он слегка коверкал язык, путая немецкое и английское произношения.

Мастер дебаркадера выбирал для себя очередную жертву. Какую-нибудь племянницу председателя нашего колхоза, приехавшую на лето из города в деревню. И кружил над нею ястребком до тех пор, пока белокурая жертва не оказывалась в конуре его дебаркадера. Конуру он называл каютой. «Отбомбился!» – говорил Лупейкин, выходя из каюты и поправляя пояс галифе. И добавлял: «На стон пошла!» Пошла на стон – любимое выражение Адольфа, обозначающее ее восхищение и высшую степень его собственного достижения.

Можно было понять, что всю свою сознательную жизнь Адольф Лупейкин чувствовал себя летчиком-асом. Но служить ему пришлось палубным матросом на дебаркадере, принимая концы-канаты изредка чалящихся у нашей деревни суденышек. Так грубые реалии жизни расходятся с нашими светлыми представлениями о ней. Или – с нашими розовыми мечтами.

Похоже, именно в то лето жизнь впервые открылась для меня своей взрослой, часто не радостной, правдой. Капитан в черно-золотом мундире с аксельбантами и в белых перчатках был вовсе и не капитаном, а забулдыгой-рулевым. Обыкновенным старшиной на прокопченном суденышке-«жуке», который тянул из Де-Кастри в Маго неуклюжий плот сырых лиственниц.

И собачонка-проказница из доброго щенка превращалась в монстра, готового загрызть любую курицу до смерти...

А потом в такого же монстра превращался ты сам.

Были и другие шокирующие открытия.

Валька-отличница, желтая и пушистая, та самая, что без запинки цитировала формулу опыления пестиков, с большим интересом раскрыла твой собственный пестик. С алым бутончиком на стебельке. Все случилось в штабе, на сеновале. И ничем по-настоящему взрослым не закончилось. Хотя Лупейкин авторитетно заявлял: «Само получится!»

И мама – совсем не сельская учительница в платье василькового цвета и с томиком стихов в руках. И никакого капитана она уже давно не ждет на скалистом берегу. Она – взрослая, мало улыбающаяся тетенька, которая противно стонет и охает по ночам. Рядом с недостаточно любимым тобой папой-отчимом.

Потомком ссыльных кулаков...

А ты, между прочим, внук большевика-партизана, пионер, командир звена-пятерки, неустанно собираешь золу для удобрения колхозных полей, сдаешь макулатуру и зарабатываешь характеристику для вступления в ряды ВЛКСМ.

Я узнал правду. И я задохнулся. Вкус настоящей правды оказался горьким. Горше раствора йода, которым мама смазывала мне горло.

А безжалостный Лупейкин продолжал свой страшный рассказ про моего отца. Мне хотелось заткнуть уши. Умереть. Мне хотелось, чтобы гланды разорвали мое горло.

Мне предстояло переболеть какой-то другой тяжелейшей болезнью, не ангиной. Я не знал ее название. Переболеть, чтобы не потерять своего горизонта.

Уже тогда я знал, что горизонт – воображаемая линия, где небо сходится с землей. А лучше – с морем...

Образ отца-капитана во мне жил всегда.

Все началось с вырванного зуба, лимонада и вельветового костюма.

Мама и отчим повезли меня в город – выдернуть больной зуб. Передний. Через час я, уже щербатый, сидел в городском парке, ел докторскую колбасу с белым батоном и запивал шипучим лимонадом. Зуб, завернутый в марлечку, лежал в кармане брючат. Врачиха сказала, чтобы

я взял его на память. А лимонад тогда был неслыханной шипучести и сладости и, кажется, я пил его впервые в своей жизни. Тем летом мне исполнилось семь лет, и осенью я должен был пойти в первый класс.

Мама ушла на базар. Он располагался прямо на берегу Амура, напротив парка, где продавали мороженое и лимонад. Мороженое мне не купили. Ограничились лимонадом. Счастья не должно быть много. Достаточно было того, что зуб-гнилушка больше не болел, зеленоватый напиток казался мне божественным, а вареную колбасу мы вообще ели по большим праздникам. Чаше все-таки мы ели рыбу с картошкой.

Над крышей рынка кружили чайки. Лодки с рыбой приставали прямо к пирсу базара. Амурский лиман и Татарский пролив были рядом.

По деревянной лестнице, ведущей в парк с берега, поднималась группа моряков. Я сразу понял, что они моряки. У них были синие кители, черные брюки-клеши и фуражки с золотистой «капустой» – якорек, окруженный дубовыми листьями. И шел среди них один, в кителе белом. Я почему-то сразу понял, что идет мой отец. Он шел прямо ко мне.

– А где мама? – спросил он меня.

– Она пошла на базар – лук продавать, – прошамкал я.

И добавил:

– А мне жуб вырвали.

И протянул отцу тряпочку, в которой был завернут вырванный зуб.

Отец понимающе хмыкнул и подхватил меня на руки. Кажется, он даже подкинул меня в небо и ловко поймал. Ощущение полного счастья, не сравнимого в жизни дальнейшей ни с чем – не только с лимонадом, но и другими прекрасными напитками, охватило все мое существо.

– Знакомьтесь, товарищи моряки! – сказал отец, обращаясь к своим матросам. – Мой сын – Александр.

И каждый пожал мне руку.

Наверное, все-таки это были не матросы, а комсостав корабля-гидрографа, на котором еще ходил тогда капитаном мой отец. Матросы – они в бескозырках и бушлатах. А пришедшие были в кителях. Их ботинки и козырьки фуражек сияли на солнце. Но я тогда думал, что если мой отец – капитан, то все остальные – его матросы.

Немедленно был послан гонец на рынок, чтобы предупредить маму. Мы с отцом направлялись обедать в ресторан «Амур». В то время «Амур» единственный ресторан в Николаевске. Все моряки, приходящие из рейса, считали своим долгом отметить в ресторане. Сейчас в том доме обыкновенный хлебный магазин. Когда я приезжаю в Николаевск, считаю своим долгом постоять у бывшего ресторана «Амур».

Вареная колбаса – жалкое ничтожество по сравнению с котлетой «Пожарской» и борщом по-флотски, которые немедленно принесла в тарелках и поставила передо мной на стол официантка с кружевной наколкой в волосах. К борщу подали маленькие пирожки, которые сами таяли во рту, и сметану. Поразительно было то, что сметану официантка принесла в кувшинчике из фаянса.

Вместо лимонада отец заказал голубичный морс. В нем плавали кусочки льда и фиолетовая ягода. Оказывается, так тоже было положено. Морс был налит в глубокую чашку с крышкой – почти тазик, только не железный, а тоже фаянсовый. По стаканам официантка разливала его поварешкой. Почти крюшон. Много лет спустя я пил такой в Париже, на плац Пигаль.

Сами флотоводцы предпочитали коньяк, пахучую жидкость золотистого цвета. Армянский коньяк «Три звездочки». Я принимался к нему с подозрением. Мне всегда казалось, что коньяк пахнет клопами.

– Какие планы на будущее, сын? – спросил отец после обеда, вытирая губы небрежно скомканной белоснежной салфеткой.

Ловко зацепленная за стоячий воротник его кителя, холстяная салфетка надежно укрывала грудь отца от красно-оранжевых, фактически огненных капелек борща. Мне, как я ни старался, так и не удалось зацепить салфетку за воротничок моей рубашонки. Несколько жирных пятен предательски расплывались на пузе. Я понимал, что вид у меня нехороший. Белый китель отца оставался чистым.

Зато я не чавкал и старался не хлебать борщ громко, с деревенским хлопаньем. Хотя он и был горячим. Не чавкать за столом меня учила бабка Матрена. И крошки хлеба я старательно сметал со стола в ладонь и отправлял в рот. Мне казалось, что моряки по достоинству оценили мое тактичное поведение за столом.

– Собираюсь в первый класс, – как можно солиднее отвечал я.

Отец, как мне показалось, уже заметил оранжевые пятна на моей рубашке.

– Ну что ж – хорошее дело! – одобрил он. – Займемся обмундированием.

На автобусе мы приехали в магазин «Детские товары». Четыре остановки от набережной до угла улицы Лиманской.

– Принесите нам, пожалуйста, школьную форму, вельветовый костюм, два ремня и две пары бареток. Коричневые и черные. Да, захватите еще пару белых сорочек!

Он сказал именно так: бареток и сорочек!

То есть обыкновенные рубахи моряки называли сорочками.

Отец казался мне человеком из другого мира. А баретки вкусно пахли кожей, вельветовый пиджачок плотно лег на плечи и брюки – без лямки через плечо! – струились от бедра. Европа, класс А! Как говорил наш Лупейкин.

Продавщица, молодая женщина в кудряшках, все выкладывала и выкладывала перед нами на прилавок горы прекрасных и мною невиданных вещей. Мне кажется, она заигрывала с отцом – высоким и чернобровым, в отглаженном кителе. И в ресторане официантка с кружевной наколкой в волосах тоже делала глазки отцу. Я заметил.

– А все это, – отец указал на мои стоптанные сандалии, рубашку с пятнами и штаны с ляжкой-помочью, – заверните, пожалуйста, в пакет!

На крыльце магазина отец придирчиво осмотрел меня, поправил отложной воротничок белой рубашки.

– Запомни, Саня, – вздохнул отец, – у настоящего моряка всегда начищены баретки, а на кителе – свежий подворотничок! Тогда и все остальное будет в порядке.

Через много лет я понял, что значит «все остальное».

Всякий раз, когда я прихожу в магазин за новым костюмом или туфлями, я как можно небрежнее киваю на вещи, в которых пришел: «А все это заверните в пакет!»

Тут очень важна одна деталь. Подберите все по размеру. Без подшивания, зауживания, заглаживания или, не дай бог, укорачивания.

Потрясающий эффект заворачивания старых вещей может быть смазан, если, предположим, брюки вашего нового костюма не струятся водопадом, а ложатся гармошкой на баретки.

Скажу вам больше. Немедленно подбирайте другие брюки!

В «Детских товарах» были куплены: школьная форма – ворсистая фланель мышинного цвета, гимнастерка – под ремень, на фуражке – кокарда (гимназисты отдыхают!); вельветовый костюм с симпатичными клапанами на карманах – в новом костюме я и явился под очи встревоженной мамы и отчима; а также – два ремня, один – почти морской, с желтой бляхой; куртка-бобка с вельветовыми же вставками на спине; три отличные рубашки; туфли – полуботинки, они же баретки. И – самое главное – китайские синие кеды! Те самые «кеты» с ребристым носком и резиновой вставкой-кругляшом на косточке, которые во время игры в футбол оберегали тебя от подлого удара по ноге. Удар назывался «подковать». Кеты – мечта любого мальчишки нашей деревни. Они стоили три рубля восемьдесят копеек и никогда не бывали нужного размера. В тот день подходящих тоже не оказалось. Но я упросил отца взять на два

размера больше. В купленных кетах я играл в футбол до четвертого класса, а в носок подкладывал вату...

Отец уговорил маму и отчима посетить его судно, когда мы с покупками вернулись в парк. На уговоры, как ни странно, мои родители поддались охотно, поскольку отец пообещал утром доставить наше маленькое семейство в родную деревню. Гидрограф шел мимо, в порт Маго. Порт приписки его судна. Немаловажная деталь – отец пообещал Иосифу корабельный душ и хороший коньяк.

Мои быстро повзрослевшие внуки Юля и Нина спросят меня: «А вот откуда ты помнишь, что пуговички на кителе твоего отца-капитана были латунными, а в прическе официантки торчала кружевная заколка... И почему твоя мама продавала лук? И вообще – разве есть черные корабли с золотой каемкой? Ведь тебе было всего семь лет! Как ты мог так хорошо запомнить?!»

Действительно, как?!

Я не помню тип военно-транспортного самолета, из которого мне предстояло прыгнуть, правда – с парашютом, в ночное небо, насквозь простреливаемое ракетами афганских душманов. Я не помню цвета платья английской королевы на приеме в честь представительств иностранных государств, а также ее прическу... Я не помню названия ресторана, в котором я поздно ночью брал интервью у будущего президента Чехии Вацлава Гавела. Но я совершенно точно помню, что у продавщицы в магазине «Детские товары» была шестимесячная завивка, которую называли «химка», или «перманент».

Легче всего ответить на вопрос – «Почему твоя мама продавала лук?»

Она его продавала потому, что в доме не хватало денег.

Может быть, я помню отчетливо все детали потому, что в тот день состоялся мой жизненный выбор? Он определил мой взгляд на людей и события, которые еще должны были встретиться и случиться в моей дальнейшей жизни. В моем взгляде на жизнь не могли соединиться горькие рассказы Лупейкина о последних днях жизни моего отца с моими собственными воспоминаниями семилетнего мальчика, однажды и на всю жизнь полюбившего своего отца – красавца флотоводца. Человека, который показал тебе горизонт.

Благородство и маргинальность несоединимы. Так стакан золотистого коньяка нельзя смешать с кружкой деревенской браги. Хотя, как известно, употреблять можно и то, и другое. Эффект почти одинаков. Похмелье – разное.

Я не помню разговора в капитанской каюте под зеленой лампой абажура между тремя взрослыми людьми – моей мамой, отчимом и отцом. Потому что я уже засыпал на постели капитана, в соседнем маленьком отсеке. Откидная полка-кровать с бортиками темно-вишневой полировки. Но я совершенно отчетливо помню, как мы втроем – отец, Иосиф и я – плескались в корабельном душе. Мужики все время хохотали, брызгались водой и травили анекдоты. По очереди они терли друг другу спины жесткой мочалкой, свитой из нитей судового каната. Жесткой – я ощутил это на своей спине, потому что спину надраивали и мне. Надраивать – тоже морской термин. Надраивают палубу и флотские ботинки. Отец прижимал меня к себе одной рукой, а другой тер спину и все время спрашивал: «Тебе не больно?»

Было больно, но я не сознавался. Я чувствовал на себе руки отца. Еще я запомнил, что волосы у моего отца росли не только на руках и груди, но и на спине – тоже. Меня такая подробность неприятно удивила. Я бы сказал даже, покорибила. У других мужиков я подобной волосатости не видел. Никакого душа в нашей деревне не было. Один раз в неделю, по субботам, все ходили в общую баню, разделенную на две половинки – мужскую и женскую.

Я хорошо помню, что разговор в каюте звучал мирно. И Иосиф с удовольствием чокался своим стаканом со стаканом моего отца, оставаясь вполне добродушным человеком. Наверное, потом он стал ревновать мою маму к ее прошлому. А точнее – к образу жизни моего отца. Который он случайно, вместе со мной, подсмотрел.

Отчим не выигрывал в сравнении. Он был человеком неглупым и понимал увиденное верно.

Повторюсь: у отца к тому времени уже была другая семья. Сквозь сон я слышал голос отца: «Дина... Дочка Людочка... Пусть Санька приезжает в гости...»

Утром все та же шлюпка летела к берегу. «Р-раз, р-раз, р-раз!»

Корабль на рейде на моих глазах становился маленьким. Отец стоял на капитанском мостике. Он был строг и не улыбался. Мама на корабль ни разу не оглянулась. А по лицу Иосифа уже катались знакомые мне желваки. Ничего доброго они не предвещали. Как будто они не терли спины друг другу в душе, не хохотали и не брызгались водой, не травили анекдоты и не сдвигали стаканы с золотистой жидкостью под мягким светом лампы с зеленым абажуром.

Через несколько лет отца не стало. Он умер – тут Лупейкин был прав – в море, неподалеку от порта с нерусским названием Де-Кастри. На капитанском дипломе № 190, выданном в марте 53-го года, рукою безвестного кадровика написано: «Умер 4 сентября 1964 года на катере „Шторм“». Диплом гражданского судоводителя отец получил после окончания службы на флоте военном.

Он не дожил десяти дней до своего тридцатисемилетия. Получалось, что на капитанском мостике гидрографа я его видел в последний раз. Со стаканом бражки в руке представить отца я не могу до сих пор.

А матроса по фамилии Лупейкин на том прекрасном гидрографе никогда не было. Его там просто быть не могло.

Поздней весной, когда майны и проталины разъели ледяной покров Амура, когда не то что на «газике», а даже и пешком ступать на ноздреватый лед стало опасно, у меня воспалился аппендицит. Диагноз поставила тетя Лиза Акташева, деревенский фельдшер-акушер. Нужна была срочная операция. Потому что началось нагноение. Сквозь жар я слышал незнакомое слово «перитонит».

Мне хотелось исправить тетю Лизу и произнести слово правильно. С ударением на «то». Хотя, если разобраться, и такого слова быть тоже не могло.

Как это – перетóнет?

Понятно – перепрыгнет, переболеет, перегонит... А перетонет? То есть победит в соревновании тонущих?! Утонет быстрее всех?!

Абсурд. Я просто бредил.

Играть в слова мне нравилось. С двенадцати лет я публиковал в районной газете свои стихи, где «дожди» рифмовались со словом «жди». Заведующий отделом районной газеты Рутен Аешин, сам – детский поэт, считал такую рифму удачной. Не будет преувеличением сказать, что на некоторое время я стал деревенской знаменитостью. Почти как Лупейкин. А тут – аппендицит. С пугающим своими последствиями перитонитом.

Иосиф, мама, тетя Лиза Акташева и директор нашей школы Иван Маркович Поликутин пришли к Адольфу Лупейкину. Поликутин был взят для авторитета.

Только такой отчаянный смельчак и ас, каким, несомненно, являлся мастер баржи «Страна Советов» Адольф Лупейкин, мог решиться на санный перевоз больного подростка по талому льду в Магинскую портовую больницу. Там работал молодой, но уже почитаемый в нашей округе хирург по фамилии Киселев. Он-то и приказал немедленно доставить меня в операционную. Консультировались с тетей Лизой по телефону.

После правдивого рассказа пьяного Лупейкина про отца прошел почти год. Мы с Адольфом рассорились крепко. Мне казалось, навсегда. Хотя он и предпринимал попытки примирения. Но зимой на железной, промерзшей, казалось, до самых шпангоутов барже делать нам было нечего. Своего обещания Хусаинка не выполнил. И морду Лупейкину никто не набил. Однако при виде братьев Мангаевых, забияк и драчунов, Адольф сворачивал в переулочек.

Меня завернули в овчинный тулуп и уложили в сани-розвальни. В сани запрягли старую, но выносливую кобылу по кличке Кормилица, из колхозной конюшни. Холодный весенний ветер взбодрил меня, и я слышал, как Иосиф спросил Лупейкина:

– Может, саданешь на дорожку? Для храбрости... У меня есть с собой!

Лупейкин ничего не ответил. Он вообще во время сборов больше помалкивал, только усы воинственно топорщились в разные стороны. Честно говоря, мне казалось, что Лупейкин если и не боится, то слегка побаивается предстоящего ледового похода. А может, и побоища. Если учитывать вероятность провала и купания в студеной воде.

А кто бы не боялся? Я сам? Хусаинка? Иван Маркович, деревенский интеллигент с горьковской прической пролетарского писателя, при взгляде на которую мне всегда приходили на ум дурацкие строчки «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...» И дальше чего-то там про Буревестника, который гордо реет, яркой молнии подобен... Я не знаю, почему я вспоминал горьковского пингвина. Ни в грузности, ни тем более в глупости Ивана Марковича, даже при самой разнузданной критике, обвинить было нельзя. Скорее, он все-таки тянул на Буревестника.

И что – Буревестник пойдет по талому санному следу, загребая сапогами-болотниками ледяную кашу шуги?! Буревестник он же ведь не бредет понуро, как кобыла Кормилица, он всегда ре-ет! Гордо.

Моего отчима, тирольского стрелка, ни разу в жизни не запрягавшего лошадь, тоже трудно было представить в роли Данко, бесстрашно шагающего среди речных проталин. Он в ситуациях и менее рискованных давал слабину, хотя по пьянке хорохорился и задибался. Оставались еще Мангаята, старшие братья Хусаинки. Те не боялись ни черта, ни дьявола. Но в тот момент их, видимо, не оказалось дома. То ли за сеном уехали к дальним стогам, то ли ушли на рыбалку в верховья речки Иски. Ранней весной там ловились и таймень, и зубатка.

Я вообще-то заметил, что деревенские люди в подобных ситуациях отличаются точностью выбора своих героев. И вот спрашивается, кого они могли выбрать на роль Данко? Правильно – Лупейкина! Жигана и авантюриста.

Ни о каком санитарном вертолете в те годы речи не велось. И самолету «Аннушке» на талый лед тоже было никак не сесть.

На предложение «сadanуть для храбрости» Лупейкин категорически замотал головой. Летчицкую куртку он сменил на выдавший виды кожушок, на ноги надел высокие сапоги-болотники. Удивляло другое. Шею Лупейкин замотал своим шелковым кашне. Позже я понял, почему он так сделал. Белое кашне было знаком его мужской отваги и доблести. И надевалось оно в самые ответственные моменты. Которые, как в песне про крейсер «Варяг», назывались последним парадом. И у Александра Розенбаума в одной из замечательных его песен есть строчка: «Положено в чистом на дно уходить морякам!» Такая форма одежды на флоте называется «Одеться по первому сроку».

Лупейкин оделся по первому сроку.

– Тогда... Это! – Иосиф заговорщицки подмигнул. – как Ёмскую бухту пройдете, справа на релке поленица дров. Мы недавно там швырок заготовливали... В первом ряду «Перцовка» припрятана, ближе к берегу. Если что – найдешь! Вдруг пригодится?!

Как в воду глядел.

В бухте реки Ём мы и ушли под лед.

Ну, то есть как ушли? Не с-ручками-с-головками, как говорили у нас пацаны в деревне про внезапную глубину. Но все-таки провалились.

От Иннокентьевки до Маго не больше двенадцати километров.

Проход Лупейкин организовал хитро. Как настоящий следопыт. Он то пускал старую и опытную кобылу Кормилицу вперед самостоятельно, то есть не управлял вожжами. Коняга интуитивно выбирала безопасный путь между промоинами. А то сам шел впереди, ощупывая

лед длинным шестом. Так добрались до Сахаровки. Соседняя деревня. А за ней начиналась Ёмская бухта. Отсюда до Магинской косы, чтобы двигаться уже посуху, рукой подать. Мы были уверены, что прошли!

До коренного берега оставалось метров, наверное, сто. Не больше. Лупейкин с шестом-шупом наперевес двигался впереди сам. Вдруг Кормилица захрапела, замотала мордой из стороны в сторону, поднимаясь на дыбы. Лед под нею хрустнул и побежал трещинами. Кормилица жалобно заржала, забила копытами по обламывающейся кромке. Задние ноги лошади медленно уходили в вязкое крошево шуги и снега. Боль в боку не позволила мне резко выкатиться из саней, я приподнялся, опершись на руки. Казалось, еще немного, и мы уйдем под воду. Лупейкин, сделав какой-то по-пиратски отчаянный выпад, бросился к лошади и обрезал постромки. Раздувая ноздри, Кормилица, освобожденная от пут и тяжести саней, выскочила на лед. Грудью она сбила Лупейкина. Повалила его в талый, вперемешку с водой, снег. Сани вместе со мной остались на полурасколовшейся льдине, в промоине. Лишь один бок тулупа основательно подмочило.

Лупейкин мгновенно вскочил, подтянул розвальни – они как бы пристали к краю полыньи, и тут же шестом промерил дно. Оказалось, что в опасном месте оно не очень-то и глубокое. Честно говоря, мелкое дно. Когда все случилось, мы и не подозревали, что промоина безопасна.

У страха глаза велики.

Нам казалось, что мы провалились чуть ли не на середине Амура, в водоворот или даже в омут. Иное дело, если бы напуганная лошадь начала биться в упряжи и перевернула бы сани. Неизвестно, как бы выбирался я.

– А сани могли утонуть? – безразлично спросил я Лупейкина.

– Башка твоя стоеросовая! – кричал возбужденный победой Адольф. – Сам подумай, как они утонут! Сани-то, ёпта, деревянные!

Лупейкин бегал вокруг Кормилицы, выливал воду из сапог, бил себя по ляжкам и кричал: «Перетонул! Перетонул! Вот умора-то...»

Перетонул. Где-то я уже слышал это слово... Перитонит. А, пере-тóнет!

Ничего, наверное, так просто не бывает. А может, просто совпало.

Адольф хотел сказать, что я сильно постарался и – вот, пожалуйста, цел и невредим! Не ушел ко дну. Перетонул, по ходу дела.

На самом-то деле героем был он сам, Лупейкин. Он все понимал. И радовался тому, что земляков не подвел. И не уронил марку бесстрашного проходимца. И не надо теперь будет прятаться по переулкам от братьев Мангаевых. Вон он, Санька Куприк – живой! Через каких-то полчаса ему Киселев все кишки промоет...

Лупейкин так и орал, суетясь возле саней с упряжью: «Он кишки-то тебе сейчас промоет! За милую нашу душу промоет... Ты даже не надейся!»

Дескать, никаких теперь тебе от хирурга Киселева поблажек не будет. Он успокаивал меня, как мог. Да и себя, наверное, тоже.

Лупейкин сбегал от саней к поленнице. К тем дровам, о которых ему рассказал отчим. Мы провалились в весеннюю майну прямо напротив впадения речки Ём в Амур. Здесь Иосиф и заготавливал швырок, здесь и припрятал заветную поллитровку.

Я почти не промок в полынье, водой прихватило только ноги и бок. В животе уже не болело. Просто какая-то огромная тяжесть сосредоточилась там, в низу живота.

Лупейкин подскочил ко мне. Усы и белый шарф на шее Лупейкина обледенели. Он сунул мне под нос «Перцовую»:

– Хватани! Хуже не будет. У тебя там сейчас все кишки с гноем переболтало...

Лупейкин он и есть Лупейкин. Одно ему название – Гитлер.

Я зажмурился. И хватанул.



Лупейкин наклонился надо мной, протягивая кусочек хлеба с салом:

– Ты, это... Про отца-то не обижайся! По пьяни я... Он знаешь, какой у тебя мужик был?! О-го-го! Как чечеточку с выходом делал! На стон шел, бабы сознание теряли... Ты, это... Глаз-то не закрывай! Не закрывай глаз, кому говорю, Куприк!

Внутри меня всего обожгло. Стало хорошо-хорошо. Я увидел девочку с пшеничной косой и в васильковом платье, корабль на горизонте – Жук золотой, отца на капитанском мостике. И рядом с ним себя. Оказывается, мне махала Валя косынкой с утеса. А я на корабле уже шел по горизонту.

Я потерял сознание.

Я очнулся в светлой комнате на высокой кровати, укрытой очень белой простынею. Две симпатичные девушки, тоже в белых халатиках, стояли возле меня и хихикали. Одеяло с меня сдернули. Я лежал голый. Одна спрашивала: «Сколько ему лет?» Другая – посерьезнее, взбивала мыльную пену и отвечала: «Совсем еще мальчишка, в восьмом, что ли, классе, а поди ж ты...»

Я догадался. Практикантки из медучилища готовили меня к операции. Они должны были побрить меня внизу живота. И удивлялись. Да, да, я не мог ошибаться – чему-то удивлялись! Хотя, по моим представлениям, особо удивляться там было нечему. Но практиканткам виднее. Добавлю только одно: после медицинского бритья у меня по-настоящему в паху закурчавилось. Но на спине, в отличие от отца, волосы у меня не выросли. Может, и неплохо. Не обезьяна же.

Операция длилась четыре часа. Практикантки мне потом рассказали. Из операционной хирург Киселев сам меня отнес на руках в палату.

На следующий день лед на Амуре взломало, и начался ледоход. В наших местах ледоход – эпохальное событие. По значимости сравнимое с праздником 1 Мая или с приездом в сельский клуб странствующей цирковой бригады. Ну вы, наверное, помните: женщина-змея, два лилипута – он и она, оба уже морщинистые, куплеты слегка нетрезвых клоунов под игрушечную гармошку и глотание горящих клинков.

В отдельных местах, в бухтах и на скальных прижимах Амура, нагромождения льда возникали такие, что заторы приходилось взрывать. Люди помогали реке освободиться от зимнего панциря.

Лупейкин приходил ко мне каждый день, приносил сухой кисель в брикетиках по 17 копеек – наше любимое в детстве лакомство, и рассказывал, что в Ёмской бухте, там, где мы с ним потерпели крушение и чуть не утонули, льда набило столько, что принято решение бомбить затор с воздуха, авиацией. Не знаю – врал или говорил правду.

Лупейкин в больнице чувствовал себя неплохо. Даже несмотря на отсутствие хромовых сапогов-жимов и легчицкой потертой куртки. Кашне-то оставалось при нем!

Назад, в деревню, он вернуться не мог. Путь по реке до поры до времени был отрезан. Хирург Киселев, оказавшийся по совместительству главным врачом больницы, выделил Лупейкину каморку под лестницей. В соседней деревне Гырман раздобыли телегу, Кормилицу перепрягли, и Лупейкин стал возить в больницу продукты. Все чаще из каморки Лупейкина раздавался смех практиканток. Я к тому времени, держась рукою за бок, уже шаркал по коридорам больницы. Киселев заставил меня встать на второй день после операции.

А ледоход мог длиться полмесяца.

Наконец Адольф пришел ко мне озабоченный и сказал, что будет пробираться в деревню тайгою, по тропе. Кормилицу поведет в поводу.

– Главное Ём пройти, – делился Лупейкин, – а от Сахаровки по тропе, вдоль столбов телеграфных. Ну, да ты, Саня, сам знаешь...

Я выразился в том смысле, что к чему такая спешка? Скоро лед пройдет, откроется навигация. Доплывем вместе на рейсовом катерке, который назывался ОМ-5.

Лупейкин сказал, что звонил в деревню, и ему сообщили, что баржу «Страна Советов» затирает льдами. Лупейкин чувствовал свою ответственность за судьбу дебаркадера. Помоему, он в глубине души – про себя, конечно, считал свой дебаркадер кораблем. Он точно знал, что с его возвращением льды отступят.

Адольф Степанович Лупейкин был настоящим дебаркадер-мастером.

## Королева

Мои родители хотели назвать меня Адамом. Наверное, начитались Библии.

Библией и другими староцерковными книгами владела наша бабка, Матрена Максимовна.

Бабке Матрене казалось: Адам Иванович – звучит гордо. Круто – как сказали бы по нынешним временам. Практически – жуть...

По-моему, хуже звучало только Адольф Пантелеевич Лупейкин.

Слава богу, у меня был еще дед, Кирилл Ершов.

Каторжанин, большевик, партизан, председатель рыболовецкой артели «Буря». В конце тридцатых он оказался «анархистом», «троцкистом» и «прислужником японского милитаризма». Все – в исторической последовательности. Кстати говоря, с приамурскими партизанами историки действительно до сих пор не разобрались. То ли за красных дед воевал, то ли хотел установить на Нижнем Амуре анархию – мать порядка? Яков Тряпицын и его партизаны на Нижнем Амуре до сих пор мало изучены.

Дед запретил бабке и родителям называть меня поповским, как он считал, именем Адам. Он как раз вернулся все с того же Сахалина, куда первый раз попал по приговору царского суда. А потом по приговору суда советского.

Как ни странно, заединщики-коммунары его не расстреляли. Дед не признался в шпионской деятельности в пользу Страны восходящего солнца. Поскольку дело происходило в самом устье Амура, дальше Сахалина его сослать не могли. Дальше находилась та самая страна, куда он якобы вместе с бочками красной икры отправлял секретную информацию. Интересно, конечно, о чем вчерашние каторжники могли информировать японских милитаристов?! Японцев тогда так называли – милитаристы.

О глубине фарватера и силе течения реки, на берегах которой они решили построить свою новую, разумеется – светлую, жизнь? О весе рыбы-матцы, которую они ловили в Амурском лимане специальной сетью-оханом? О наших отношениях с японскими моряками в конце 60-х годов я еще как-нибудь расскажу. Мы у них меняли икру и черный хлеб на газовые косынки и рубашки. Попросту говоря, фарцевали. Что из этого вышло, вы еще узнаете.

А пока про деда и про поповское имя Адам.

Из ссылки дед, больной туберкулезом, вернулся в 51-м.

Ну а тут, в июле, как раз родился я. Дед был атеистом. Но зато, как и всякий революционер, романтиком. В доме жила устойчивая легенда о том, что на каторгу Кирилл Ершов попал дуэлянтом. Он был младшим офицером в гусарском полку и смертельно ранил в поединке своего соперника. Дрались якобы из-за женщины.

Свою невесту Матрену (в то время девицу на выданье) он, однажды увидев на крыльце богатого дома сектантов-баптистов в городе Николаевске, выкрал. Что подтверждало его дуэлянтскую легенду. Поступок с умыканием невесты, как ни крути, гусарский. До родительского прощения дед жил с Матреной два месяца на таежной заимке. Ловко обтяпать любовное дельце ему помог дружок по каторге Айтык Мангаев. На двор баптистов, с тяжелыми тесовыми воротами, они привезли подводу дров.

В соседнем проулке стояла вторая лошадка, запряженная в легкие санки. В санках лежала медвежья полость...

Вопрос в другом: как за считанные минуты удалось договориться с богобоязненной Матреной Максимовной?! Только настоящий гусар мог решиться на такой поступок.

Итак, меня называли Санькой. По уличному – Шуркой.

В честь любимого мамино писателя Александра Грина.

Моя мама учила нивхских ребятишек русскому языку и литературе, а отец был судоводителем. Все сходилось.

Алые паруса, таежная заимка и матрос Залупейкин, который объяснял нам, деревенским пацанам, первые секреты настоящей любви на палой листве. Или – в душных от дурманящего запаха багульника распадаках.

Багульник на Амуре цветет нежным фиолетом. Лупейкин сказал, что нет ничего прекраснее на свете, чем любить женщину в зарослях багульника. Или на горячем речном песке. Позже я проверил. Адольф оказался прав.

В тот день, когда мне исполнилось 16 лет, я принимал женские роды в деревянной моторке, посередине Амура. У песчаной косы, заросшей желтыми кувшинками.

Ну, то есть как принимал?

Расскажу все по порядку.

Роженица – гилячка Татьяна Лотак, повариха в геологическом отряде, рожала четвертого ребенка. Начальником в отряде был Николай Иванович Пузыревский. Когда-то он работал с моей мамой на Севере, в поселке Ковылькан, потом в Аяне, на берегу Охотского моря. Говорили, что по молодости у них случился роман. Оба увлекались стихами. Но мама вышла замуж за моего отца, тогда еще не капитана, а простого мичмана на парусно-моторной шхуне «Товарищ».

Очень важно, что шхуна, кроме мотора, была оснащена настоящими парусами.

Отец приплывал из Николаевска-на-Амуре в Аян.

Вы, конечно, помните про девушку Ассоль из «Алых парусов». Про города Зурбаган и Гель-Гью. Там, в парусах и на бригантинах, описывалось сплошное беганье по волнам.

Несколько позже, учась на филфаке, я прочел в Большой Советской Энциклопедии: «В произведениях послеоктябрьского периода Грин противопоставляет реальной советской действительности некую „страну-мечту“ – своего рода вненациональный космополитический рай. Воспевая „сверхчеловека“ ницшеанского типа, Грин тенденциозно противопоставляет своих героев – „аристократов духа“, людей без родины – народу, который предстает в его произведениях в виде темной, тупой и жестокой массы...»

М-да. Думаю, мой дед-революционер, если бы он прочитал энциклопедические строки про Грина, ни в коем случае не разрешил бы называть меня в честь писателя-ницшеанца. Ему бы не понравилось изображение Грином народа в виде «тупой и жестокой массы».

Но том Энциклопедии на букву «гэ» вышел именно в год возвращения деда с острова. До нашей, затерянной на краю земли деревеньки книга дойти не успела.

Так я был назван Санькой.

Жизнь богаче любых энциклопедий.

Отца не стало в сентябре, когда я пошел в пятый класс.

Мама вышла замуж за сельского киномеханика, сына ссыльных мироедов. И очень скоро алые паруса ее бригантины были порваны в клочья.

Пьяный Иосиф гонялся за нами по всей деревне. Кажется, в его сознании я был символом романтического прошлого, с которым никак не хотела расставаться моя мама. Говоря по-деревенски, он ее ревновал к умершему капитану.

Два раза с моим другом Хусаинкой мы, обнаружив пьяного отчима, жестоко его избивали. Последний раз дело дошло до милиции... Орудием мести мы выбрали маленькие, но тяжелые гантели. Чугунные.

Очень скоро я был отправлен из деревни продолжать учебу в школу-интернат. Он располагался в поселке Маго-Рейд. Маго был последним портом приписки моего отца – судоводителя. В интернат собирали с Нижнего Амура детей, у которых не было родителей, и детей, чьих родителей лишили прав. Мою маму и отчима родительских прав не лишали. Нашу с Хусаинкой хулиганку замаяли. Отчим простил нас. Но меня от греха подальше отправили в интернат.

Интернатовские дети очень быстро превращались в хулиганов. Нас тогда называли «трудными подростками». В то же время мы не теряли талантов прирожденных. Мы с упоением занимались спортом, играли в драмкружке и даже создали свой школьный вокально-инструментальный ансамбль. Он назывался «Секстет 4К – 2Б». Две фамилии музыкантов в секстете начинались на «бэ»: Богданов и Бурыхин. Четыре – на «ка»: Кияшко, Касаткин, Колчин и Куприк. Понятно?

Именно в музыкальном нашем секстете, выступая на концертах по деревням вместе со взрослыми участниками художественной самодеятельности, я впервые познал женщину. До такого основополагающего события в жизни шестнадцатилетнего юноши должны были еще пройти долгие и мучительные месяцы. Мучительные – другого слова я здесь не подберу. В шестнадцать лет ты думаешь о запрещенном постоянно. Не верьте рассказам о мечтах в 16 лет выучить наизусть, например, всего «Евгения Онегина». Или совершить партизанский подвиг во имя Отчизны.

Ты просыпаешься утром в интернатовской спальне на восемь пацанов и ты видишь, как у тебя между ног простыня... вздымается! Тебе становится неловко. Ведь надо вставать. И тут ты замечаешь, что простыня вздымается не только у тебя. И вы начинаете меряться...

Любому пацану ясно, чем вы начинаете меряться. Не силой же любви к родине.

Я уже печатал стихи в районной газете. И к шестнадцати годам мечтал о любви настоящей. Как и моя мама, и дед, своровавший невесту, лицо которой он ровно тридцать секунд наблюдал на крыльце сектантского гнездовья, и даже наш деревенский Казанова – Лупейкин. Ведь во все времена люди мечтают о любви настоящей. Так они устроены. Если они люди настоящие, а не какое-то зверье, волокущее наивных девушек на сеновалы и в сомнительные каюты-берлоги на дебаркадерах.

Разумеется, еще я мечтал стать капитаном. Черный мундир – золотые погоны. Корабль тоже черно-золотой. Такой жук-плавунец на глади синего моря. Во снах я крутил штурвал. Я был в белых перчатках.

Реалии жизни и романтические представления о ней часто не сходились. Примерно, как два имени – книжно-библейское Адам и просторечно-уличное – Шурка.

Меня, хулиганистого подростка-фраера, Пузыревский взял в свой отряд на время летних каникул, после окончания 9-го класса. Якобы для перевоспитания. Не знаю, каким образом он собирался меня перевоспитывать. В его отряде на шурфах работали бывшие зэки с Колымы и с Сахалина, каждый из которых оттянул не меньше чирикастого. То есть десяти лет. Думаю, для любого в стране, где половина населения отсидела в лагерях, а вторая половина их охраняла, понятен термин «оттянул».

Я был взят рабочим кухни.

Помогал той самой гилячке, которой потом приспичило рожать. Колол дрова, потрошил рыбу-кету, чистил картошку. Иногда Пузыревский бросал меня на маршрут. Я носил рюкзак с пробирками. Мы брали пробы на золото из таежных ручьев.

Когда повариха Таня сказала, что сегодня, однако, ей хочется рожать, начальник партии отправил меня сопровождающим. До Магинской больницы доехать мы не успели.

Мальчик выходил из утробы шустро.

Ну, конечно, я принимал роды – сказано слишком смело. В лодке присутствовал третий – геолог-практикант Димон, лохматый романтик-бродяга (опять – романтик!) в очках с толстой роговой оправой – по моде тех лет, в брезентовой штормовке и в ковбойке. Именно за ним я носил пробирки по ручьям.

Такие парни, настоящие лирики, если помните, любили петь у костра про бригадину и про лыжи, которые у печки стоят.

Они всегда пили разведенный спирт. За яростных и непокорных, за презревших грошевой уют. Александра Грина они тоже любили и цитировали наизусть. Вслед за своим кумиром

они без устали бегали по волнам. Они были неутомимы – романтики шестидесятых. Физики и лирики. Димон был ярко выраженным шестидесятником.

И еще у них у всех были классные свитера, какие-то волосатые, и ботинки – геологические, на толстой рифленой подошве, с железными усиками для шнурков.

До Иркутского геологоразведочного техникума, который он уже заканчивал и находился в нашем отряде на преддипломной практике, Дима отслужил три года на флоте. Непонятно, что он там делал. Он был законченным очкариком. Ботаником, как говорят сейчас. Но ботинки у него были. Я с ума сходил от геологических ботинок. Но если бы только от них...

С геологом-студентом приехала та самая Ассоль, которая снится потом всю жизнь.

Ее звали Зина.

В нашей лодке-гилячке – длинной и узкой, но приспособленной для подвесного руль-мотора, роды фактически принимал Дима. Очкастый романтик страшно кричал на меня и матерился. Он кричал: «Отвернись! Не надо тебе смотреть!»

Но я смотрел. Не отрываясь. Мне зачем-то надо было смотреть.

Повариха Таня родила легко.

Димон, отирая локтем пот со лба, пробормотал: «Выскочил... Как пробка из бутылки. Головкой шел».

Пуповину уже перерезали и перевязали, мальчонку (конечно, родился мальчик!) обмыли амурской водой. Зачерпнули прямо за бортом и закутали в мою байковую рубашку. Должен же я был принять хоть какое-то участие в родах?!

Повариха засмеялась, ткнула ребенку желтый сосок маленькой груди, набила табаком трубочку и приказала возвращаться назад, в геологоотряд.

Все дети у нее были от разных мужей. Старшие учились в том же интернате, где воспитывался я.

В отряде нас ждали. Но, конечно, не с младенцем. Пузыревский не растерялся, объявил выходной и приказал накрывать стол.

Из летней кеты, провернутой в мясорубке, быстро нажарили котлет размером... Ну, вот какой у них был размер?! На сковородке с трудом умещалось две.

Спирта не было. Того самого, который пьют за яростных и непокорных. Водки – тем более. В геологических партиях действовал сухой закон, а ближайший магазин находился километрах в ста ниже по Амуру. В том самом порту Маго, куда мы не довезли Татьяну.

Жора-трубач, бывший лабух и вор-карманник из Одессы, принес припрятанный урками ящик одеколona «Тройного». Пузыревский промолчал. Люди моего поколения должны помнить тот мерзкий напиток мутно-белого цвета, который получается из «Тройного», если одеколон разбавить водой.

А кому легко?!

Мне налили полкружки разведенного одеколona, и начальник партии произнес речь. Он сказал, что сегодня, 31 июля, родились два могучих мужика. Одному исполнилось шестнадцать лет и, значит, он получит паспорт и автоматически станет гражданином СССР. Великой державы, чей золотой запас они пополняют в таежной глубинке. Другой – тоже гражданин, но пока еще совсем маленький, и он, Пузыревский, начальник геологической партии, которая ведет разведку полезных ископаемых на краю земли, а также и вверенный ему коллектив, выражают надежду, что мальчик вырастет достойным сыном своей великой родины.

За столом, сколоченным из ящиков, сидели тоже достойные сыны своей родины. Елизарыч, бригадир шурфовиков, худой и жилистый старикан, бывший врач-вредитель. Ему давали 25 лет, отсидел двадцать. За отравление начальника районного отдела МГБ, своего приятеля-якута, по фамилии Трофимов. По версии Елизарыча, он просто не дал ему утром спирта – опохмелиться. Елизарыч, тогда молодой ординатор из Хабаровского мединститута, назначенный главным врачом районной больницы, с Трофимовым дружил. Интеллигенции на Севере

было немного: учителя, врачи, геологи. Накануне вечером выпивали вместе. А утром Елизарыч уперся: спирту не дам – каждый грамм на учете! И Трофимов пустил пузыри.

Елизарыч хорошо играл на гитаре и знал стихи Пастернака. Он пел «Свеча горела на столе, свеча горела...» и утверждал, что именно в год написания этих стихов его посадили. Стихи про свечу Пастернак написал в 1946 году. Я проверил позже. Опять все сходилось.

Рядом с Елизарычем сидели Упырь и Феникс.

Феникс получил свое погоняло за то, что в любых условиях мог за тридцать секунд развести костерок. Для демонстрации способностей он падал ничком в сырую траву, и тут же из-под его живота начинал струиться дымок, и выбивались язычки пламени. Феникс, как и все остальные шурфовики, чифирил. Да и сам Пузыревский любил прихлебнуть из кружки страшно горького напитка, в тайге заменяющего эфедрин. Надеюсь, вы помните – «Легкий и бодрящий?! Это – „Эфедрин!“»

Чифир – эфедрин эков великой Страны Советов. Мама мне рассказывала, что дед тоже чифирил.

Для приготовления чифира, чая высочайшей крепости – пачка «индийца» на кружку, требовался огонь. Феникс его добывал мгновенно.

Упырь по глубокой пьяни убил свою четырехлетнюю дочку. Он был модельным сапожником и, получив очередной расчет, упивался в лоскуты. Спал, свалившись, на полу, а девочка, желая вернуть любимого папку к жизни правильной, принесла чугунную лапу – специальную подставку, на которой подбивают обувь. Лапа была тяжелой, выскользнула из рук ребенка и упала на голову отца. Упырь, не разобравшись с пьяных глаз, схватил лапу и...

Ни в лагере – на зоне, ни в нашем отряде Упыря не любили.

Еще за тем столом сидели Жора-чертежник, шулер, наперсточник, карманный вор и бог игры на трубе, Адик, Инженер, Марцефаль и Шаха. Тому, кто знаком с феней – жаргоном урков и блатных, их клички скажут больше, чем легенды о судьбах, рассказанные ими самими у ночных костров. К тому времени я уже кое-что познал из того мира, куда попал. Например, про то, что сами урки в свои легенды искренне верят. И по фене я уже ботал.

Адик – Адольф, авторитетный вор, лидер группировки. Инженер – взломщик сейфов. Марцефаль – наркотик, конкретно – эфедрин. Шаха – шестерка, прислужник авторитета на зоне. Да и «чертежник» на языке бродяг, как звали себя уголовники, совсем не специалист по картам и схемам, а вор-карманник, который бритвой взрезает карманы и сумки жертв при краже.

Да, был еще Аид – еврей Рабинович, редкий человек в уголовном мире и тем более на шурфах. Уважаемый вор, авторитет, он всю жизнь сидел за мошенничество. Он и в отряде Пузыревского занимался бухгалтерией... Авторитет Аида был непререкаем.

Впрочем, мои коллеги мало тогда интересовали меня.

Зинаида – вожденный плод моей мечты, муза моих стихов, предмет моих прыщавых терзаний и сосредоточенного сопения в кустах. Так сказать, Ассоль.

Она королевой, в обтягивающем свитерке и в брюках цвета хаки, восседала рядом со своим Димой-очкариком. С ума сойти! Студентка, приехавшая на практику в геологический отряд Пузыревского вместе с женихом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.